

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДАГЕСТАН

Хизгил Авшалумов

НЕВЕСТА
С СЮРПРИЗОМ



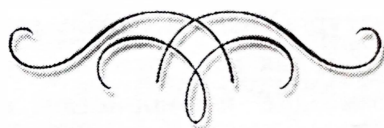
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДАГЕСТАН



Хизгил Авшалумов



НЕВЕСТА С СЮРПРИЗОМ



Рассказы и повесть

ББК 84 (Тат)–4

УДК 821.351

А 22

Авшалумов Хизгил

А 22 Мудрец из Ньюди: рассказы и повесть / пер.
с татск. – Махачкала: ИД «Эпоха», 2007. – 256 с.
ISBN 978-5-98390-026-4

В сборник известного дагестанского прозаика, поэтаидраматурга Хизгила Авшалумова, писавшего как на татском, так и на русском языках, вошли повесть “Возмездие” и юмористические рассказы из книги “Невеста с сюрпризом”. Смех и слезы, юмор и драму умело сочетал в своем творчестве классик татской литературы. А мастерство живет вечно и востребовано всегда. Потому и книги Х. Авшалумова будут интересны современному читателю.

ББК 84 (Тат)–4

УДК 821.351

ISBN 978-5-98390-026-4

© Х. Авшалумов, наследники, 2007

© Издательский дом «Эпоха», 2007

Вместо предисловия

Самое трудное – это рассказывать о себе, тем более человеку, как я, которому всегда чертовски... не везло в жизни.

Я только успел научиться без посторонней помощи совершать свои короткие путешествия из одного угла комнаты в другой, когда лишился матери. Так я и не знаю, не помню, кто была моя мать, какие у нее были глаза, лицо, улыбка, голос... Отец, озабоченный судьбой своего осиротевшего чада, решил “купить” мне новую маму. Вскоре он женился на восемнадцатилетней вдове с увесистыми кулаками и крепкими зубами. И когда моя новая мама уставала колотить меня кулаками, то пускала в ход зубы. Делала она это, конечно, из “благих” намерений – чтобы научить меня отправляться на сон грядущий с желудком, не отягощенным ужином, а утром, едва продрав глаза, – бежать в школу без завтрака. Наверно, поэтому я рос сердитым, обидчивым (“на пустой желудок – не до веселья и шуток”), часто дрался с мальчишками и почти никогда не расставался с синяками и шишками. Зато, как мог, аккуратно пропускал уроки в школе.

Отец, хотя был далеко не в восторге от моей личности, но мою склонность к дракам, завидную способность легко и без жалоб сносить побои и ушибы оценил по-своему: решил со временем сделать из меня боевого офицера (он был солдатом первой мировой войны и питал почтение к офицерскому званию). Но, как говорится в горской поговорке: “Человек мечтает, а судьба смеется”. Бедный мой отец так и не увидел осуществления своей мечты. Он умер, когда мне было всего лишь тринадцать лет. Сельский знахарь, который в глазах моих добрых, но еще нецивилизованных односельчан – нюгдинцев имел больше веса, чем все “безбожники-врачи”, вместе взятые, желая вылечить моего отца от воспаления легких, выпустил из вены целый таз крови, а на рану наложил “бальзам” из... пыльной паутины.

Так я в тринадцать лет остался круглым сиротой, “самостоятельным” мужчиной поневоле.

Целый год, после смерти отца, я пас колхозных телят, а еще три года работал в полеводческой бригаде.

Когда мне стукнуло восемнадцать, я решил, что пора надеть на себя военную форму, о которой мечтал для меня покойный родитель. Председатель сельсовета Мииров, у которого черная папаха и не менее черная борода и одежда постоянно были покрыты мучной пылью (он по совместительству работал мельником, и мне всегда казалось, что из его бороды и одежды можно

палкой выколотить столько муки, что вполне хватило бы на то, чтобы сварить хинкал), одним росчерком пера с легкостью необыкновенной прибавил к моим годам три недостающих мне года (в то время в военное училище не принимали моложе двадцати одного года).

Но военные врачи по какой-то неведомой мне статье забраковали меня, сочли негодным для военной службы на том основании, что у меня на ногах “почти гладкая подошва”. А когда началась Великая Отечественная война, меня в первый же день войны призвали в армию. После ее окончания, несмотря на то, что я был дважды ранен в боях, продолжал оставаться годным к военной службе. Итак, в общей сложности я прослужил около пятнадцати лет офицером: был бы жив отец, он, наверно, остался бы доволен.

Что еще рассказать о себе?..

Да, я имею семью, жену. Одно время стоило мне только подумать о том, что жена может родить мне дочку, я приходил в ярость, мысленно хватал кинжал и чик – одним взмахом сносил ей голову, точно головку репейника: я, как и мой отец, иметь дочерей считал обидным для мужчины (девочки, мол, не дети). Но, словно назло мне, родилась первая, затем вторая дочь. И что же? Голова моей покорной половины осталась на плечах целехонькой, но зато от того дикого бреда, вредного пережитка старины, в моей неразумной голове не осталось и следа. И когда болеет моя

маленькая дочурка, у меня бывает такое состояние, будто душа моя прощается с телом.

К сожалению, многие приписывают мне качества, совсем мне несвойственные. Это тоже, конечно, своего рода невезение. Однажды зимой в Куйбышеве во время тридцатиградусного мороза, когда я собирался броситься в ледяную воду (есть у меня такая “дурная” привычка – купаться зимой), два подстерегавших меня милиционера, выскочив из своей засады, тут же схватили меня за руки, заподозрив в... сумасшествии. В другой раз, правда, несколькими годами позже, в хмурое и холодное ноябрьское утро 1945 года, когда я переплывал Одер, бдительный польский пограничник принял меня за “подозрительную личность” и едва не прошил очередь из автомата. А некоторые, читая мои “веселые рассказы”, думают, что я и впрямь веселый человек, интересный собеседник, остроумный шутник и т.д. и т.п. А на самом деле в жизни я человек скучноватый, мрачноватый, малоразговорчивый, неостроумный, лишенный всякого дара красноречия. Сам удивляюсь, почему меня тянет писать веселые вещи?.. Может быть, это оттого, что при всех моих личных недостатках я люблю людей, люблю куда больше, чем это кажется на первый взгляд...

Хизгил Авшалумов
1966 г.

МУЖ ДВУХ ЖЕН

С некоторых пор дремучая борода колхозного конюха дяди Эсефа, прозванного земляками Длинной Бородой, на глазах его изумлённых односельчан начала таять с угрожающей быстротой, как ледяная сосулька на солнце. Сперва из неё стали загадочно исчезать только серебристые нити, а потом и серебристые, и чёрные одновременно. Многие односельчане, привыкшие видеть пышную бороду дяди Эсефа, предмет его особой гордости и заботы, во всём её роскошном великолепии, с явным недоумением и даже некоторой тревогой смотрели на эту трагическую перемену. Но спросить об этом почему-то не решались, считали неприличным. А сам он хранил на этот счёт суровое молчание и даже делал вид, будто с его бородой ничего особенного не происходит.

Односельчане высказывали самые различные догадки и предположения относительно его катастрофически редееющей бороды. Одни считали, что могучая борода дяди Эсефа пострадала от сглаза. Иначе, мол, и не могло быть.

Такая необыкновенная борода рано или поздно должна была стать жертвой дурного глаза. Другие, решительно отвергая подобное утверждение как нелепое суеверие, причиной лихой беды, постигшей буйную поросль на лице дяди Эсефа, считали моровую язву, будто прицепившуюся к ней. А иные с самым серьёзным видом уверяли, что жена дяди Эсефа, страдающая суставным ревматизмом, по совету врача собирается вязать себе на зиму самые тёплые носки из... волос, которые она ежедневно выдергивает по целому вороху из роскошной бороды мужа.

Прошло бы ещё немного времени и жалкие остатки некогда завидной бороды дяди Эсефа, ещё не так давно придававшей ему величественный вид библейского патриарха, бесследно исчезли бы с его лица, и эта тайна, окутанная для его односельчан мраком неизвестности, так и осталась бы неразгаданной, не случись с Длинной Бородой новой беды, более тяжкой и уже ничем непоправимой, о которой ... А впрочем, не будем забегать вперёд...

... Вообще дядя Эсеф сам по себе – колоритная фигура. Высокий, как минарет, мощный, как дуб, с крупными чертами лица и густой аршинной бородой, которой могли бы позавидовать даже древние ассирийские цари – настоящие ценители и обожатели пышных бород, заметно выделялся среди своих односельчан.

Когда дяде Эсефу стукнуло пятьдесят лет, он с болью в сердце признался сам себе, что судьба несправедливо и жестоко обидела его, наградив пятью дочерьми и не дав сына. Боясь, что на всю жизнь останется хомолом ¹, он стал носить «кушак бездетности» и отращивать бороду. За каких-нибудь несколько месяцев его борода разрослась в ширину и длину до таких поражающих размеров, что затмила собой все другие бороды, как великолепный нарядный «шлейф» павлина – все остальные птичьи хвосты. Вот с тех пор односельчане и дали ему прозвище Длинная Борода.

Эсеф в душе не мог нарадоваться своей грандиозной бороде и был уверен, что если даже бог очень стар и подслеповат, то такую бороду, как у него, обязательно заметит, а заодно обратит внимание и на его кушак. Но прошло несколько лет, прежде чем дядя Эсеф с горечью понял, что скорее на вершине Шах-Дага свистнет рак, а на бесплодном камне зацветет ландыш, чем его покорная половина вновь станет матерью. Тревога вселилась в душу Длинной Бороды. Но при этом дядя Эсеф мысленно уве-

¹ Хомол – несчастный бездетный. По татскому обычаю, мужчина, у которого нет детей, называется хомолом. Но хомолом считается также и тот, у которого есть дочери, но нет сына. Некоторые суеверные таты-хомолы носят специальный «кушак бездетности» (кишди хьомоли) и отращивают бороды, чтобы бог обратил внимание на их участь и даровал им сына.

рял себя и других, что он хочет мальчика вовсе не для того, чтобы тот был для него опорой на старости лет. Разве мало сейчас даже в их селе стариков, которые получают от колхоза пенсию и живут себе, не зная нужды. Иные пожилые люди презируют дочерей, хотят обязательно мальчика, чтобы он после смерти отца молился за упокой души, иначе, мол, отцу не видать райских блаженств, а дочке запрещено молиться за отца. Если уж про кого и говорят: «у него борода длинная, а ум короткий», только не про него, Эсефа. Он, слава богу, ещё не спятил с ума, чтобы поверить такой нелепости, будто его сын, будущий юный пионер или комсомолец, станет молиться за то, чтобы душа Длинной Бороды лёгкой бабочкой порхала по райским лугам и садам, сидела в обнимку с обнажёнными райскими девицами на берегу прохладных ручьёв, в тени диковинных деревьев. Бог свидетель, он желает сына только для того, чтобы снять с себя обидное прозвище «хомол», поддержать честь своей папахи. Только ради этого он договорился с молодой незамужней женщиной по имени Аснат о тайном браке.

Правда, Аснат красотой не блещет, но зато эта черномазая и лупоглазая молодуха с пухлыми, точно надутыми, круглыми щеками обладает такой широкой грудью и воловьими бёдрами, что Длинной Бороде казалось будто из

неё так и посыпятся дети, как спелые яблоки с яблони, когда её чуть-чуть встряхнёшь.

И вот, когда дядя Эсеф извиняющимся тоном осторожно поведал жене о своём намерении жениться на толстухе Аснат, она была так потрясена, что несколько минут не могла и слова вымолвить, будто онемела.

– Джан Эсеф, не позорь себя и меня на старости лет, – склонив голову набок, с дрожью в голосе принялась умолять его несчастная женщина, наконец обретая дар речи. – Посмотри в зеркало на свою бороду – она наполовину седая. Что подумают люди, какими глазами ты сам посмотришь на детей?.. – Она вздохнула и печально улыбнулась ему. – Да и закона такого нет при Советской власти, чтобы сельсовет разрешил одному мужу иметь двух жён.

– Родила бы мальчика, не женился бы! – сердито отрезал Эсеф, потрясая бородой, а потом, криво усмехнувшись, мстительно добавил: – Чтобы обзавестись второй женой, мне твой сельсовет вовсе не нужен. Если подмажу духовному отцу, он не только меня с Аснат, чёрта с ведьмой обвенчает. Важно, чтобы брачный договор, написанный им, лежал у меня в кармане.

... Вторая жена дяди Эсефа, толстуха Аснат, жила далеко, на окраине села. Длинная Борода этому был и рад и не рад. Рад оттого, что соперницы не будут встречаться каждый день, а

то, чего доброго, не избежать скандала. Зачем ему это нужно? Тем более, что он ещё точно не знает, оправдает ли Аснат его надежды. Поэтому пока всё это надо держать в секрете. Даже курица, пока не снесёт яйцо, не кудахчет. Но с другой стороны, обладателю дремучей бороды было не по душе, что Аснат живёт далеко и ему приходится идти к ней поздно вечером, когда на улицах уже совсем темно и безлюдно. Но «сидя верхом на верблюде, в отаре не скроешься». Как Эсеф ни старался под покровом темноты никем не замеченным пройти на свидание к молодой жене, по дороге нет-нет да сталкивался каждый раз с кем-нибудь из односельчан, иногда с членами народной дружины. Не раз он слышал за своей спиной язвительные шутки, насмешки своих односельчан.

Как говорится: «когда неудачник купается в речке, к нему и лягушка прилипнет» Вчера в садах колхозники до позднего вечера справляли традиционный «праздник черешни» – первый день сбора ягод. Длинная Борода, нарочно сославшись на недомогание, весь день сидел дома и курил кальян. Но едва на улице стемнело, дядя Эсеф, сразу же забыв о своей «хвори», прихватив с собой приготовленный тайком от старой жены узелок с подарками для Аснат, осторожно выскользнул на улицу. Оставалось каких-нибудь сто шагов до её дома, когда полусогнувшаяся фигура старухи Саадат, известной

во всём селе болтуни и сплетницы, как шайтан из-под земли, вынырнула перед ним из-за угла. Длинная Борода спрятал узелок за спину, молча кивнул ей головой в знак приветствия и подобострастно улыбнулся. Тётушка Саадат, подозрительно и насмешливо окинув его длинную фигуру, к ужасу Эсефа, вдруг заговорила с ним таким неестественно громким голосом, точно она обращалась к глухому или её с Эсефом сейчас, по меньшей мере, разделял горный поток.

– С праздником тебя, о Эсеф!.. Куда тебя несёт в такое время?.. Все добрые люди продолжают отмечать праздник, а ты ходишь по селу, как неприкаянный?!

«Знает же, карга старая, наверняка знает, куда я иду, но кричит нарочно так, чтобы об этом слышали другие», – с возмущением и страхом подумал Длинная Борода.

Желая скорее отделаться от назойливой старухи, не вызывая, однако, её недовольства и не давая лишнего повода для её сплетен, дядя Эсеф заставил себя приятно оскалиться. Он в свою очередь поздравил «добрейшую» тётю Саадат с праздником, сказав ей при этом, что спешит проведать больного, которого надо подбодрить, утешить...

– Иди, дорогой, иди утешь, бог тебе на помощь, – с деланным сочувствием вздохнула старуха, сдерживая улыбку.

Встреча с Саадат сильно расстроила Длинную Бороду. Поэтому, придя к молодой жене, он безо всякого воодушевления поздравил её, выпив чарку-две вина, сразу же лёг и вскоре залился богатырским храпом, несмотря даже на то, что Аснат, как только Эсеф склонил отяжелевшую голову на подушку, по обыкновению взялась за его бороду... У Аснат уже вошло в привычку: едва муж ложился спать, она начинала перебирать седые волосы в его бороде и безжалостно выдергивать их один за другим, чтобы он выглядел моложе своих лет. И Эсеф ради своего будущего потомка терпел всё, позволяя ей такую блажь. Но вот горе, за последнее время она часто не то по неосторожности, не то по небрежности вместе с седыми волосами выдёргивала и чёрные, нанося его бороде невосполнимый урон.

И вот в праздничную ночь, как только усталый, озабоченный и слегка охмелевший дядя Эсеф заснул, ему приснился странный сон. Почему-то одна половина его бороды – белая-белая, как горные облака, а другая – чёрная, как грозовая туча. И обе его жены в какой-то бешеной ярости мертвой хваткой вцепились в его злополучную бороду и каждая из них с силой дёргает её, как всё равно туго засевший гвоздь в стене, молодая – белую половину, а старая – чёрную, не обращая внимания на его отчаянные крики и угрозы. В этот самый момент,

когда жёны раздирали его бороду, дядя Эсеф проснулся от нестерпимой боли. Открыв глаза, он обалдело посмотрел на полуобнаженную жену. Та сидела у его изголовья и на самом деле тянула его за... бороду. Пока дядя Эсеф спросонья соображал, что жена с ним вытворяет, его чуткий слух явственно уловил какой-то подозрительный стук в окошко. Колхозный конюх решил, что Аснат, дёргая его за бороду, непременно хотела проверить: крепко ли спит он, чтобы затем впустить к себе другого, наверно молодого возлюбленного....

Спустя несколько минут дядя Эсеф, оскорблённый и возмущённый коварной изменой молодой жены, с развевающейся общипанной бородой бежал как очумелый через всё село в направлении своего дома, где старая жена, мучавшаяся от ревности и унижения, не ожидала скорого его возвращения. Обманутый двоеженец, не замечая ничего под ногами и вокруг себя, сгоряча врезался в стаю собак, собравшихся сейчас почти со всего села на «собачью свадьбу». Рассерженные его неожиданным вторжением, собаки всполошились и, обнажив острые белые клыки, будто смеясь над одураченным Эсефом, дружно накинулись на него с громким лаем. Отбиваясь от разъяренных псов, Эсеф принялся усердно размахивать пиджаком, который от волнения забыл надеть на себя и держал в руке.

На следующее утро Длинная Борода прежде чем выйти на улицу, по привычке запустил руку в карман пиджака, но не обнаружил там бумаги, на которой был написан его брачный договор с Аснат. Эсеф всегда хранил его при себе, чтобы он не попал в руки старшей жены. Тревожные предчувствия охватили его: неужели вчера ночью, когда он отбивался от псов, размахивая пиджаком, брачный договор выпал из кармана? Правда, теперь он для него всего лишь пустая, ненужная бумага, но он боялся, как бы брачный договор не попал в чужие руки, не вызвал в селе нежелательные толки и пересуды по его адресу. Поэтому он, недолго думая, сразу же пошёл искать его по вчерашним следам. Когда Эсеф добрался до майдана, где обычно собирались на досуге сельчане, он невольно обратил внимание на столпившуюся перед большим щитом группу людей, среди которых была и старуха Саадат. Они что-то читали и надрывались от хохота, то и дело посматривая в его сторону.

– Это я нашла его на улице рано утром и сразу же отнесла в штаб дружины, – разгибая спину, с торжествующим видом оглядела собравшихся тётя Саадат, тыча морщинистым пальцем в щит.

Каждый острил на свой лад:

– Вот отчего, оказывается, его борода, на которой было больше волос, чем на конском хвосте, поредела за последнее время, как листья на дереве после урагана!..

– Это ещё что, увидите, как она у него без хны покраснеет, когда встанет перед общественным судом...

Под иронические улыбки и осуждающие взгляды односельчан дядя Эсеф, потупив глаза, осторожно, словно ступая по скользкой почве, медленно подошёл к ним. Те, сохраняя насмешливые улыбки, дружно расступились перед ним и «почтительно» пропустили его вперёд.

Первое, что бросилось в глаза Длинной Бороде при взгляде на щит, – это его брачный договор с толстухой Аснат, который был прикреплён к сатирической газете «Крокодил ходит по селу», а рядом с ним – его смешное изображение с несколькими длинными волосинками на почти голом подбородке. Эсеф машинально, точно в полузабытьи схватил дрожащей рукой общипанную бороду, но, почти не ощутив её, в ужасе отшатнулся, растерянно оглядываясь по сторонам. Земля дрогнула под его ногами...

СОСЕД МОЙ – ВРАГ МОЙ

Ассалам алейкум, товарищ редактор! Умоляю Вас, напечатайте о моём соседе Сары-Самаде ¹, который проживает в селении Узун-Бурни ² напротив водяной мельницы (да чтоб он

¹ Сары – рыжий

² Узун-Бурни – длинный нос.

угодил своей рыжей головой под её тяжелые жернова), один острый фильетун. Хотя и говорят, что близкий сосед лучше далёкого брата, а вот мой сосед Сары-Самад – злой враг мне, и сам не знаю почему. Он до того надоел, замучил меня, что если можно было бы уложить всё своё хозяйство: дом, двор, сад, скотину вместе с женой в одну торбу, валлах, ни одной минуты не остался бы жить с ним рядом. Взвалил бы всё это себе на плечи и, несмотря на мои пятьдесят восемь лет, бежал бы отсюда без оглядки, как от землетрясения. Что же делать, если он такой невыносимый человек.

Жить с ним по соседству, клянусь Вам, несколько не лучше, чем очутиться на дне глубокого колодца один на один с шахмаром ¹, да чтобы шахмар ужалил его ядовитый язык.

Мне говорили, что раз пишешь в газету – давай факты. А фактов у меня против Сары-Самада хватило бы на целый чувал ². Но я приведу только несколько из них. «Веревка хороша длинная, а речь – короткая».

Начну хотя бы с того, что он, мой сосед, ходит по селу и распространяет обо мне гнусные хабары, будто я нарочно огородил свой двор и сад каменным забором из-за ревности к своей молодой жене и что прячу её от любопытных

¹ *Шахмар* – одна из разновидностей ядовитых змей.

² *Чувал* – большой просторный мешок из паласов для ссыпки зерна.

взоров, как купец свою мошну, зная, мол, «женитьба старика – кейф ¹ для молодых».

Как поворачивается у него язык сказать обо мне такое, если моя жена почти каждый день на виду у тысячи людей торгует в городе на рынке ягодами и фруктами из моего сада. А когда она не успевает за день продать привезённое, даже остается ночевать там у какого-то своего дальнего родственника.

Со своей старухой я принужден был развестись, взять новую жену, потому что от моей прежней жены не было ни толку, ни проку ни мне лично, ни нашему хозяйству. Женщина она хилая, слабая, к тому же бесплодная. Кроме того, иного легче снарядить на Луну, чем заставить было её отправиться на рынок в город, хотя от города до нашего Узун-Бурни рукой подать.

Не отрицаю, я действительно огородил свой двор и сад, чтобы не вводить в соблазн посторонних: «глаз не увидит – сердце не захочет». Но жена моя, скажу я вам, тут совсем не причём. У меня, чтобы не сглазить, самый красивый и самый богатый сад в селе. Поэтому кому не лень тащился ко мне в сад любоваться им и полакомиться фруктами, как будто это джамаатский ² или колхозный сад, где можно, не платя ни гроша, наесться вдоволь и насорить. А это

² Кейф – веселье, удовольствие.

¹ Джамаатский – общинный.

всё равно, что лезть ложкой в чужую кастрюлю. А ведь капля к капле образует ручеек, копейка к копейке – рубль, а ягодка к ягодке – кучку. А жена моя за каждую кучку берёт на рынке с покупателя рубль, а то и подороже. Зачем я должен терять лишние рубли?

Они с неба не валятся.

Потом, если разобраться, женщину в тридцать лет разве можно считать молодой?.. В былые времена многие женщины в нашем селе в возрасте моей жены ходили в бабушках. А он, мой сосед, выдаёт её за молодую – лишь бы наговорить на меня. Как видите, Сары-Самад бесовестно клеветает на меня, невинного человека.

Наберитесь, пожалуйста, терпения, послушайте дальше...

Недавно он, мой сосед, обозвал меня сорняком, да ещё при всей бригаде. Он так и сказал: «Ты, говорит, Гамбар, зловердный сорняк в дружном всходе колхозного посева, не мешало бы, мол, химической прополкой и мощным, как его, культиватором уничтожить сорные растения на полях твоего сознания...»

Да чтобы этот самый культиватор прошёлся по его хребту, какой же я сорняк, если всю жизнь сам борюсь с этими сорняками, как всё равно, если бы они были бы моими личными врагами. Ему на лысине своего отца легче отыскать чертополох или другой сорняк, чем в моём саду!

И оскорбил он меня, можно сказать, зря, нипочём. Во время работы на прополке овощей ребята устроили перекур.

Сам я не балуюсь табаком: курить – это не только прожигать здоровье, но и деньги...

И вот, пока ребята курили, разговаривали, меня начало клонить ко сну. Чтобы не помещать им, я потихоньку встал, отошёл подальше, отыскал неподалёку большой куст и лёг под ним. Проснулся, когда уже солнце начинало садиться над ближним лесом, вернее, не я проснулся, а меня разбудил Сары-Самад, мой сосед. Оказывается, в это время стадо возвращалось в селение, а коровы и бычки, приближаясь к кусту, где я лежал, шарахались в сторону или пугливо обходили его. Этим они привлекли внимание Сары-Самада, который в это время возвращался домой с саженью в руках (он у нас работает учётчиком).

Говорят: «На хромого козла и скала рушится». Обычно животные боятся, если в кустах (не про нас с вами будь это сказано) валяется покойник или затаится зверь. А с чего они, глупые создания, испугались меня, здорового, мирно спящего человека, и тем привлекли внимание моего недоброго соседа – понять не могу.

И вот на следующий день мой сосед в присутствии всей бригады смешал быль с небылицей, правду с ложью и начал клеветать и чернить меня. Он говорил, что я будто бы весь

день проспал в кустах, когда другие не жалели себя в работе, чтобы перевыполнить норму, что это не первый и, наверное, не последний случай с моей стороны. По его словам, меня однажды находили вот так спящим в разгар рабочего дня в «Донгуз камыше»¹, а в другой раз под стогом сена, что я днём на колхозной работе отсыпалась, чтобы потом всю ночь корпеть в своём саду.

Почти на все его клеветнические наветы у меня есть опровержение. Во-первых, я проспал в кустах не весь день, а три четверти дня, то есть после первого перекура – надо быть точным. Если сосед недолюбливает соседа – это вовсе не значит, что ему дозволено говорить про него всё, что взбредёт ему на ум. Во-вторых, я в зарослях «Донгуз камыша» никогда не спал, зная, что это – излюбленное место свирепых диких кабанов. Не такой я глупый, чтобы по своей охоте подставлять свою голову под их острые клыки. Пусть это делает Сары-Самад, если ему его рыжая голова надоела, – хоть раз в жизни сделал бы приятное своему соседу.

И под стогом сена никто не видел меня спящим в рабочее время – враньё! Видели только под копной свежескошенного сена. Гм, человек даже не может толком отличить копну от стога, а берётся поучать других. А то, что по ночам я подолгу и усердно работаю в своём хозяйстве,

¹ Донгуз-камыш – кабаний камыш.

– это правильно. В колхозном хозяйстве, дай аллах берекет ¹, пятьсот дворов, а в моём – я один.

Но меня, товарищ редактор, особенно вот что возму-щает. Несмотря на то, что я опроверг все наветы моего соседа, собрание бригады всё же вынесло решение просить правление колхоза оштрафовать меня на пятнадцать трудодней.

Как же это так?!. С одной стороны, меня чуть ли не на каждом собрании ругают и поносят, что не вырабатываю минимума трудодней, а с другой – сами же режут их. Да так у меня никогда не наберётся этого самого минимума...

Коротко о вчерашнем случае, рассказом о котором хочу закончить своё письмо к Вам. Вчера он, мой сосед, чуть не натолкнул меня на смертоубийство и не свёл с ума. Да, да! А было это так. Поздно вечером возвращался я со свадьбы домой, а жены моей опять не было дома. Она осталась ночевать у своего дальнего родственника. Когда я вышел во двор, смотрю, у меня в саду под черешневым деревом стоит незнакомый человек с куцей бородкой и в соломенной шляпе. Он тянет на себя ветку с ягодами, а сам нахально смеётся мне в лицо, оскалив рот.

– Вон из моего сада, хам! – кричу я на него, – не для того, говорю, вырастил я в поте лица

¹ *Берекет* – хлеб, добро.

эти черешни, чтобы ты даром лопал их, да ещё усмехался надо мной!

А он – ни с места: ни стыда, ни страху. Я вспыхнул, как спичка, тем более, выпивши был, вынес в горячке ружьё из дому и пальнул в вора. Незнакомец упал без звука, как подкошенный. Как только я опомнился, понял, что натворил, мне стало страшно, весь покрылся холодным потом. Бросив ружье, я кинулся бежать к калитке, но от растерянности наткнулся на каменный забор и расшиб в кровь себе лоб. Мне показалось, что это он, вернее призрак убитого, догнал меня и изо всех сил хватил камнем по голове. И я поскорее спрятался в доме. Сколько страхов натерпелся я вчера ночью – не дай аллах даже врагу вашему.

Ещё хорошо, что на мой выстрел никто не прибежал потому, что вчера ночью стрелял из ружья не я один. В нашем селении издавна существует обычай: когда жених впервые переступает порог комнаты невесты, где им с сегодняшнего вечера предстоит жить как супругам, наши односельчане выходят за околицу села, стреляют в воздух, приветствуя этим зарождение новой семьи, как будто без их «приветствия» дело не обойдется. Поэтому на мой выстрел никто и не обратил внимания.

Утром, едва дождавшись рассвета, я, подавленный, еле живой, притащился в сад. И как только подошёл к тому самому месту, где вчера

ночью упал незнакомец, я остолбенел от изумления – под черешневым деревом на мокрой от утренней росы взрыхлённой земле лежал не человек, а ... обыкновенное чучело, но с козлиной головой. Губы сверху и снизу надрезаны. От этого казалось, что коза, вернее голова её, смеётся во весь рот.

Меня охватила такая бурная радость, что не могу выразить Вам словами, будто заново на свет родился. Я плакал и смеялся. Но вскоре моя радость сменилась острым гневом на моего недоброго соседа, Сары-Самада. Я вспомнил, как он совсем недавно упрекал меня при всех, говоря: «Ты, Гамбар, пережиток прошлого, жадный собственник, можешь из-за пары ягод человека убить...»

Я сразу сообразил, что эта дьявольская шутка – дело его рук, и клетчатый пиджак на чучеле я не раз видел на нём.

Поспешно завернув шляпу и козлиную голову в пиджак, снятый с чучела, я сегодня утром отправился в райцентр к прокурору жаловаться на Сары-Самада. А как же иначе. Но обидно то, что прокурор совершенно безразлично отнёсся к моей жалобе, да ещё посмотрел на меня так неласково, так недружелюбно, будто во всём виноват не он, мой сосед, а я. Получилось, как в старинной пословице: «Иди заяви хакиму¹, а хаким сказал – убирайся к черту!»

¹ Хаким – начальник.

Будьте справедливы, посудите сами: разве после всех тех пакостей, которые причинил мне, безвинному человеку, мой сосед, он не заслуживает, чтобы Вы написали о нём острый, как кубачинский булат, фильетун, да чтобы фил¹ придавил его вместе с прокурором!..

КАК Я ВОСКРЕС

Я умер. Но умер не наяву, а во сне и поэтому видел, чувствовал и слышал всё, что происходило со мной и вокруг меня.

Едва неумолимый ангел смерти – Азраил вместе с последним вздохом отнял мою душу, меня раздели догола и сняли с кровати (покойнику, мол, незачем без дела валяться в постели). Тело мое еще не остыло, когда его положили на голый пол в одном из углов комнаты (теперь все равно никакая хворь к нему не пристанет). Угол завесили белой простыней (неприлично ведь взрослому мужчине, если он даже мертв, растянуться нагишом на виду у всех). У моего изголовья поставили священный огонь – зажженную лампу.

Потом меня тщательно омыли горячей водой (видимо, в рай не пускают без предварительной санобработки), завернули в белоснежный саван.

¹ Фил – слон.

После всех этих и других процедур, предусмотренных обрядом (знаете, иногда живому легче попасть на приём к начальнику-бюрократу, чем покойнику в свою яму), меня положили на погребальные носилки, накрыли черной материей и быстро понесли на кладбище.

Впереди процессии шли мои сестры, тетки, двоюродные и троюродные сестры моей бабушки (жена осталась с детьми дома, она от горя не в состоянии была двигаться).

Все мои родственницы рвали на себе волосы, царапали себе лица, прыгали и громко причитали. Выше всех прыгала, несмотря на свои шестьдесят лет, и громче всех причитала моя мачеха. Пусть, мол, люди знают, что она, мачеха, тяжелее всех переживает кончину своего пасынка.

И, глядя на мачеху, я невольно вспомнил свое безрадостное детство: как она из-за лишнего куска хлеба била меня смертным боем и как за малейшую провинность щипала и кусала меня.

«Эх, мачеха, мачеха! – думал я с горечью. – Если бы ты с таким же усердием работала бы в колхозе, с каким колотила меня, валлах, твоё имя давно занесли бы на Доску почёта».

Но я смотрел на все происходящее беспристрастно, равнодушно, как и полагается мертвому. Однако, когда со своих носилок, покачивающихся на плечах моих согласно

шагающих друзей, как на волнах, я бросил прощальный взгляд на родной город, освещенный лучами предзакатного солнца, меня охватили невыразимая тоска и волнение. Он, этот город, был мне дорог и мил. Здесь я вырос, познал волнения первой любви. Город из года в год рос и хорошел на моих глазах. Многие здания в нем были выстроены при моем участии, и я смотрел на них, как смотрит старый садовник на деревья, посаженные и выращенные его заботливыми руками (при жизни я был бригадиром одной из строительных бригад).

Горькая, как полынь, жгучая, как молния, мысль о том, что я на веки вечные расстаюсь со своим городом, детьми, женой, что я умираю, не дожив до старости, возмутила меня, все во мне восстало.

Мне пришлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы подавить в себе эти земные переходящие чувства и покориться своей участи, памятуя, что покойник должен вести себя, как жених перед венцом, – тише воды, ниже травы, иначе потеряет уважение со стороны живых.

Всё шло чинно и строго, как полагается по обряду.

Похоронная процессия вступила на кладбище. Носилки со мной осторожно сняли с плеч и бережно положили у свежевырытой мо-

гилы, откуда несло сыростью и тленом. Кругом возвышались надгробные камни и безымянные холмики, застывшие в скорбном молчании. Они наводили меня на грустные мысли. Невольно приходили на память печальные строки величайшего из поэтов Омара Хайяма:

*Друг мой, в могилу скоро ляжешь ты,
Где света нет, любви и красоты,
Слушай, эту тайну никому не открывай, –
Не расцветают вновь увядшие цветы...*

Я ждал: вот-вот снимут меня с носилок, положат в яму, и мир с голубым небом, горячим солнцем и мерцающими звездами навсегда захлопнется передо мной. Но в это время чей-то голос объявил об открытии траурного митинга по поводу моих похорон. От имени коллектива и профсоюзной организации СМУ дали слово пожилому мастеру Дада Бадаеву, бригадиру второй строительной бригады, с которой соревновалась моя бригада.

Грусть моя несколько смягчилась, когда я услышал его знакомый и сердечный голос. Я не сомневался, что этот седой человек с добрыми глазами скажет обо мне людям несколько душевных слов...

Но какой же удар я испытал, когда увидел, что он вытащил из кармана несколько листков, напечатанных на машинке, и, запинаясь, начал читать, впиваясь близорукими глазами в текст:

«За последние годы у нас повсеместно широким фронтом развернулось жилищно-бытовое строительство... Наш боевой девиз – строить быстро, дешево и высококачественно...»

Дальше оратор сообщил похоронной процессии о производственных показателях нашей строительной организации, доложил, где и что она строила за последние годы, упомянул несколько передовиков производства, в том числе и меня. Обо мне он сказал, что я «ловко орудуя мастерком и свободной левой рукой, в одну смену перекрывал по две с лишним нормы».

Старик и сам, видно, чувствовал, что говорит не то. Он с досадой дергал головой, хмурился, кряхтел, но продолжал читать речь, написанную, видимо, для него каким-то административным сухарем. В конце своего выступления он бросил все-таки в мою сторону поспешный взгляд, но, боясь надолго оторваться от бумаги, продолжал чтение:

– Дорогой Хизгил! Пусть трехэтажный двадцатиквартирный дом, который мы строим со всеми коммунальными удобствами на улице Веселые ребята, будет памятником тебе за твой доблестный труд в нашем коллективе. Спи спокойно, дорогой... Прощай и до свидания!..

Я незаметно обвел взглядом лица столпившихся на кладбище людей. Нарушив приличествующую моменту скорбь, они – о, ужас! – весело улыбались. Один коротконогий, боль-

шеголовый, пучеглазый толстяк без всякого стеснения хихикал так, будто его щекотали.

От досады и возмущения я чуть не повернулся на носилках. «Ну зачем доброму Дада Бадаеву потребовалось выступать с этим отчётным докладом на моих похоронах? – сокрушался я. – Неужели в дни большой радости или большого горя у каждого из нас не найдется несколько сердечных слов?.. А какое же горе больше, чем смерть друга, товарища?.. Ведь в человеческом языке столько славных, верных слов. Неужели я только и занимался в своей жизни тем, что «ловко орудовал мастерком и сжимал кирпич левой рукой?» Разве не был я любящим мужем, нежным отцом, верным другом, разве не было у меня радостей и горестей, мечтаний и стремлений?! Почему обо всем этом не сказали ни слова?»

Толстяк, придерживая обеими руками свой тугой живот, точно боясь уронить его, уже не хихикал, а хохотал.

Вдруг и мне самому стало смешно. Сперва тихо, а потом все громче и громче начал я хохотать. Всё мое тело содрогалось от смеха.

Как я ни старался сдержать себя, ничего не выходило. (Что это за порядок, если покойники начнут смеяться над живыми, – до сих пор всегда было наоборот).

От моего громкого, раскатистого смеха черное покрывало над носилками колыхалось

всё сильнее, как от крепкого ветра. К удивлению всех, я вдруг ожил, встал и сбросил с себя мрачное покрывало.

Я слышал, что смех излечивает от многих болезней, а на этот раз смех излечил меня от самой страшной штуки – смерти.

Проснувшись в то утро, я сказал жене:

– Знаешь, если я умру раньше тебя, пусть над моей могилой не устраивают митинга.

НЕВЕСТА С СЮРПРИЗОМ

Однажды звездной майской ночью, богатой событиями 1921 года, молодой партизан Шариф Шарипов возвращался в родной аул.

Больше года Шариф не был дома. Узкая каменистая дорога то круто рвалась вверх, то резко, будто в бездну, падала вниз. Старая берданка билась за плечом Шарифа, он шагал и думал о том, как встретят его мать, односельчане.

Шариф возвращался в аул, как и уходил из него год тому назад, без единого гроша в кармане, в изношенном рваном чохо и истоптанных чарыках. Но на душе у молодого человека сейчас было весело и радостно.

Время от времени Шариф заботливо поправлял выдавшую виды облезшую папаху, осторожно, почти нежно касался пальцем гладкой красной ленты, на которой была прикреплена

маленькая пятиконечная звезда. Предложи ему сейчас самую дорогую папаху вместо его ободранного порзе ¹, он ни за что бы не согласился. Не променял бы он ее даже на знакомую ему серебристо-серую каракулевую папаху с блестящим зеленым бархатным верхом, гордо красовавшуюся на голове его односельчанина богача Асланбека.

Пусть у него, у Шарифа, папаха из простой овчины, старая, облезшая, отдает горьковато-острыми запахами прокисшего сыра, чеснока и пота, но зато она украшена красной лентой – почетным знаком его принадлежности к победившей революции. А горец, как известно, носит папаху прежде всего не для того, чтобы она предохраняла голову от жары или стужи, а как символ мужской чести и достоинства.

Но он, Шариф, не забыл, как однажды взбесившийся богач Асланбек топтал ногами вот эту самую папаху...

Это было три года тому назад. Восемнадцатилетний батрак Шариф, усталый, загорелый, в темной от пота грубой бязевой рубашке, возвращался на закате домой. Весь день, не разгибая спины, под палящим августовским солнцем убирал он хлеб на полях Асланбека. Шариф знал, что дома у старухи-матери, у которой он был единственным кормильцем, не было в тот день и горсточки муки, чтобы к вечеру она могла испечь

¹ Порзе – кусок старой, рваной овчины.

горячую лепешку, которую мать обычно подавала ему на ужин вместе с прохладным айроном из козьего молока. Поэтому, возвращаясь с поля, он захватил с собой пшеничный сноп, чтобы вручную вымолотить его дома.

Наверно, про таких, как он, Шариф, говорилось в пословице: «День бедняка начинается горем и кончается стоном». Когда он по кривой и тесной улочке родного аула, зажатой с обеих сторон серыми, плоскокрышими саклями, пробирался домой, неожиданно на повороте встретился ему хозяин. Тот, как почти всегда в последнее время, был пьян и шел, слегка пошатываясь, старательно глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться. Богач поминутно морщил лицо, еще не старое, но уже немного рыхлое, словно во рту чувствовал какую-то горечь, отчего его черные, лихо закрученные усы беспрестанно вздрагивали.

Шариф вежливо поздоровался с Асланбеком и встал спиной к стенке сакли, почтительно уступая ему дорогу. Услышав приветствие юноши, Асланбек сразу остановился, обернулся к нему. Вялым, небрежным движением он отодвинул назад серебристо-каракулеву папаху с зеленым бархатным верхом, словно она сейчас мешала ему хорошо разглядеть парня. Большие, немного выпуклые серые глаза Асланбека уставились на батрака тупо и рассеянно. Но, заметив сноп с тугими желтыми колосьями в руке своего батрака, Асланбек побагровел.

– Ты это что, с-собачий с-сын! – положив

руки на бедра, с нескрываемой ненавистью и насмешкой процедил он сквозь зубы. – Мое добро вздумал растаскивать, как будто меня уже и в живых нет, или я теперь, – он с силой ударил себя кулаком по груди, – не хозяин своему добру, если такие, как ты, безбожники и бунтовщики свергли царя с престола, а?!

Ярость душила богача и мешала говорить. В мгновение ока Асланбек сорвал с головы растерявшегося юноши папаху, с силой ударил ее о землю и принялся топтать ногами.

– Ты не мужчина, достойный носить папаху, а вор! – злобно выкрикивал он при этом в каком-то неистовом самозабвении. – Ты не мужчина!..

Воспоминание об этом всегда уязвляло мужскую гордость Шарифа, вызывая в душе бурное, но бессильное негодование. Но сейчас он вместе с острой ненавистью к своему обидчику почувствовал и мстительное злорадство. Вот он теперь покажет этому усатому шайтану, кто из них настоящий мужчина!

Мать писала ему, что богач со своими верными нукерами уходил в банду имама Гоцинского, теперь разбитую Красной Армией и партизанами в пух и прах. Говорят, после этого заносчивый и самоуверенный Асланбек и носа не показывает в ауле, страшится джамаата, прячется где-то. Только иногда тайком, среди ночи, как вор, подкрадывается он к аулу, посещает свой дом и, не дожидаясь утра, захватив

с собой провизию, исчезает опять куда-то, как дух перед рассветом.

Рассуждая так сам с собой, Шариф не заметил, как подошел к аулу. Теперь он уже шагал мимо окрестных садов, стоявших в пышном цветении, источающих густой, пьянящий аромат. Казалось, белые пушистые облака спустились на ночь с вершины высоких гор и окутали деревья.

Он шел бодро, с веселой улыбкой оглядываясь по сторонам.

Выйдя на край аула, Шариф остановился и в волнении окинул его нетерпеливым и радостным взглядом. В саклях было темно, аул погружен в сонное безмолвие. Но молодому партизану показалось несколько странным то, что его родной аул выглядит точно таким же, каким он покинул его год назад, словно в мире не произошло за это время никаких особенных перемен. Даже каменный двухэтажный дом Асланбека, его кровного обидчика и имамовца, по-прежнему кичливо возвышался над неприметными саклями бедняков, как бы подчеркивая этим свое могущество и превосходство над ними.

Шариф с ненавистью посмотрел на этот дом, будто на самого его хозяина. Поправив на голове папаху и старенькое ружье за плечом, он решительно направился прямо к дому Асланбека: а вдруг он дома?..

Подойдя к узкой двери под высоким балко-

ном из резного дерева, Шариф тихо, потом все громче принялся стучать. Прошло несколько минут, прежде чем за дверью раздался насто-роженный женский голос:

– Кто?!..

Шариф узнал по голосу мать Асланбека – Зейнаб.

Он живо представил себе седую и прямую, как шест, старуху, не по годам подвижную, с надменно-насмешливым лицом и хитрыми, выпуклыми, как у сына, серыми глазами.

– Это я! – строго произнес Шариф и, гордо распрямив плечи, поспешно добавил: – Партизан Шариф. Открой!..

– Дома никого нет, – не сразу произнесла старуха.

Юноша знал, что это означает: дома нет никого из мужчин, а женщины в счет не идут. Услышав это, он почувствовал некоторое разочарование, но решив, что его могут обмануть, он, недолго думая, снял с плеча берданку и начал прикладом бить в дверь, несмотря на неистовый лай, поднятый во дворе собаками.

Прошло еще несколько минут, и за дверью раздался лязг засова. Войдя в большую просторную комнату, Шариф окинул ее быстрым подозрительным взглядом. Но дома действительно никого из мужчин не оказалось, были одни женщины: мать Асланбека, две его жены и несколько ближайших родственниц. А в самом дальнем углу, на тяжелом сундуке, покрытом таким же

ярким разноцветным ковром, какими были украшены стены и полы комнаты, сидел кто-то вроде невесты. И как положено ей, невесте, она сидела с закрытым лицом, тихо, в неподвижной позе, как изваяние. Большой белый шелковый платок величиной с полпростыни закрывал всю ее фигуру с головы до самых носков.

Одна из девушек стояла по правую руку невесты, а другая – по левую.

Шариф почувствовал себя неловко оттого, что не поверил словам старухи и среди ночи ворвался в чужой дом, где одни женщины. И чтобы скрыть свое смущение, он, нарочито нахмутив брови, раза два молча и строго прошел по комнате, потом, остановившись, снял с головы папаху, повертел в руке, погладил со всех сторон и опять водрузил на место. Женщины, сбившись в кучу, с угрюмым молчанием и плохо скрытым страхом наблюдали за каждым шагом и каждым движением непрошеного гостя.

– Невеста?.. – показывая глазами в угол, сдержанно улыбаясь, тихо, почти миролюбиво спросил он Зейнаб, нарушая первым тягостную тишину.

Та, в отличие от других женщин, держалась непринужденно, стараясь придать своему лицу ласковое, приветливое выражение.

– Да, невеста, – кивнула старуха головой, потом, подойдя ближе к нему, доверительно, с теплыми материнскими нотками в голосе добавила: – Свою служанку выдала замуж за парня

из соседнего аула. Скоро должны приехать за невестой.

Услышав это, Шариф недовольно, почти враждебно покосился на старуху: ему стало обидно за невесту, жаль ее. Где это видано, чтобы провожали невесту из дому вот так, без веселья, без радости, без зурны? Небось, если она была бы не служанкой, а родной дочерью этой старой ведьмы Зейнаб, непременно позаботились бы о том, чтобы все было так, как положено на свадьбе. Да еще вдобавок у всех женщин такие лица, как будто дома не невеста, а покойник.

– Разве так провожают невесту из дому? – строго спросил он хозяйку. – Где музыканты?..

Старая Зейнаб, горестно сложив руки на груди, сделала скорбное, плачущее лицо.

– Да чтобы ослепнуть мне, сынок, разве нам сейчас до музыки и веселья!? Плакать нам в пору, а не веселиться, – начала она оправдываться перед Шарифом. – От сына моего никаких вестей, не знаю, жив ли он, не дай аллах, погиб ли...

Шариф резко отвернулся, не желая слушать хныканье старухи о сыне. Он подошел к курносой девушке, стоявшей по правую руку невесты прямо, неподвижно, с непроницаемым и строгим лицом, точно часовой на охране особо важного объекта. Шариф приказал ей сейчас же сбегать за музыкантом. И она из страха и почтительности перед суровым партизаном, не глядя ни на кого, пулей выскочила из дому.

Вскоре она вернулась с музыкантом, худым, немного сутулым пожилым человеком с седыми обвислыми усами и веселыми улыбающимися карими глазами. Без него в ауле не проходило ни одного торжества, ни одной свадьбы. В любое время дня и ночи Сафар (так звали музыканта), захватив свой волшебный инструмент, тотчас же с готовностью являлся на зов.

Старый зурнач и молодой партизан на виду у женщин, не скрывая своей радости от встречи, сердечно обняли друг друга и расцеловались. Затем Сафар скромно отошел к стене, вынул из кармана зурну, и тотчас же комната наполнилась пронзительно-веселыми звуками. Первой захлопала в ладоши старая Зейнаб и ее примеру тут же последовали остальные женщины. Шариф, откинув голову назад и взметнув руки в стороны, словно крыльями, с гордой счастливой улыбкой на лице пошел танцевать. Подойдя к невесте, он встал на цыпочки, вытянувшись в струнку, кивком головы почтительно пригласил ее танцевать. Но невеста продолжала сидеть молча, неподвижно. Тогда Шариф весело и озорно топнул ногой перед ней, как бы напоминая ей о своем твердом желании станцевать с ней. Наконец невеста встала и, подняв руки, грузно поплыла перед ним. Только сейчас молодой человек с удивлением заметил, что у невесты подозрительно большой живот, до того большой, что заметно выпирает даже из-под шелкового покрывала и при каждом резком

движении странно вздрагивает и ходит из стороны в сторону. Шариф с брезгливым ужасом подумал, что невеста, очевидно, в положении... Видимо, старая Зейнаб и ее родственники из-за этого только решили без шума, втихую, без посторонних свидетелей сплавить ее, отправить к жениху, по всей вероятности, виновнику ее положения. Теперь он понял и причину нерешительности и колебания невесты, когда он приглашал ее танцевать. И невольно подумал, что как должно быть ей сейчас неловко и стыдно перед ним, Шарифом. Да и сам он чувствовал себя весьма неприятно и с нетерпением ждал, когда невеста первой выйдет из круга, чтобы поскорее уйти отсюда. И Шариф в душе начал укорять себя за то, что затеял все это, заглянул в этот ненавистный ему дом.

Вдруг что-то большое и круглое с глухим ударом упало на пол из-под платья невесты и колесом покатилося к ногам ошеломленного молодого человека. Как ни странно, это был сыр, обыкновенный овечий сыр. Не успел Шариф прийти в себя, как на пол градом посыпались солидный кусок желтого сушеного курдюка, два чурека, несколько головок чеснока, какая-то бутылка, не то с вином, не то с уксусом... На глазах пораженного юноши произошло чудо: живот у невесты опал, как кузнечный мех, из которого разом выкачали воздух. Не менее удивленный и сбитый с толку этим музыкант Сафар так и застыл с умолкшей зурной во рту,

а перепуганные женщины прекратили хлопать в ладоши.

Шариф с внезапно изменившимся лицом и горящими глазами одним прыжком подскочил к невесте и резким движением сорвал шелковое покрывало, скрывавшее ее лицо. И «невестой» оказался плотный бритоголовый мужчина. Лицо его было еще не старое, но уже рыхлое, с закрученными, вздрагивающими черными усами, а серые, слегка выпуклые глаза смотрели на молодого партизана растерянno и с ненавистью.

Шариф, который был готов разорвать своего обидчика и врага на куски, увидев его сейчас в таком жалком и смешном положении, без папахи, в просторном женском платье, вспомнив, как он только что корчил из себя скромную «невесту», невольно засмеялся, сперва тихо, почти сдавленно, а потом громко, раскатисто. Старухе Зейнаб при виде этого невыносимого и ужасного для нее зрелища стало дурно, и она с глухим стоном упала без чувств на руки своих растерявшихся и перепугавшихся невесток.

ТЕЛЕФОН

Чёрт дернул меня поставить у себя дома телефон. И зачем я вбил себе в голову, что он мне очень нужен?! Ведь обходился же я, слава богу, без него, без телефона, столько лет. Его отсутствие нисколько не влияло ни на мой сон,

ни на мой аппетит, ни на мое настроение. А с его появлением у меня пропало всё: и сон, и аппетит, и настроение. Больше того, из-за этого злополучного телефона, клянусь вам, меня едва не хватил удар.

А, впрочем, мне так и надо. Говорили же мне добрые люди из конторы связи. Особенно есть там один такой пожилой, худощавый человек с удивительно спокойным и приятным голосом, видимо, самый главный.

– Зачем вам, дорогой писатель, телефон? Ваше дело писать, писать и еще раз писать, а не растрачивать попусту свое драгоценное время на телефонные хабары-разговоры.

Честное слово, говорил. А я:

– Поставьте мне телефон – никаких гвоздей! Дом телефонизирован, у моих соседей есть телефон, а почему мне нельзя?

Мой довод, видимо, сразил самого главного, и мне через несколько дней установили телефон, такой модный, белый, красивый, хоть погладь его рукой, как живого. Одно лишь огорчало меня: телефон не подавал никаких признаков жизни. Через неделю я взял трубку (на работе, конечно), позвонил самому главному, робко пожаловался.

– Телефон вам не патефон, чтобы он запел вам сразу, – упрекнул меня в ответ обладатель невозмутимого, приятного голоса.

– Ведь он целую неделю молчит, не говорит!..

– Пусть молчит, хлеба-то он у вас не просит.
– Все это верно, но...
– Простите, дорогой товарищ, никаких «но». У нас пока нет свободных номеров, – и положил трубку.

Спустя три месяца я опять позвонил (с работы, конечно), самому главному.

– Телефон молчит...
– Пусть молчит, хлеба-то он у вас не просит.
– Зачем тогда установили мне телефон?
– Вы сами просили...
– Правильно, просил, но чтобы я мог говорить по телефону ... В конце концов, фельетон что ли на вас написать?.. – разозлился я.

С полминуты в трубке слышалось сердитое сопение, потом многозначительное предупреждение:

– Пишите, если хотите, но фельетон – это еще не телефон...

И разговор оборвался.

На второй день у меня на столе затрещал телефон. Я с улыбкой на лице взял трубку, предвкушая удовольствие от разговора с другом, товарищем или просто знакомой.

– Алло, как там самочувствие моей жены?
– вдруг слышу я в трубке.

– Что, что?! – мне показалось, что я ослышался.

– Я спрашиваю, как там самочувствие моей жены? – мягче, но настойчиво повторил чей-то мужской голос.

– Откуда я знаю, – вспыхнул я, – и какое я имею отношение к вашей жене или она ко мне?

– Гм, погодите, это разве не родильный дом? Я разве не с дежурным врачом разговариваю? – извиняющимся тоном произнес незнакомец.

– Нет, квартира.

– Ах, тогда простите.

Голос умолк, я положил трубку, вновь взялся за перо, но раздался звонок, а в трубке – тот же голос спрашивает:

– Скажите, как самочувствие моей жены?

Я, не произнеся ни слова, в сердцах положил трубку. Но через минуту опять звонок, опять он же, опять тот же заклятый вопрос:

– Как самочувствие моей жены?

Я схватился рукой за сердце и глубоко страдающим голосом взмолился:

– Дорогой мой, я же сказал вам, что это не родильный дом, а квартира, не туда звоните.

– А какой номер вашего телефона?

Я назвал. Но незнакомец словно взбесился, услышав номер.

– Как вам не стыдно?! Почему врете?! – заорал он в трубку так, будто его резали на куски.

– Я и вчера и позавчера звонил по этому самому номеру и мне все время отвечали как положено... Вы просто – нахал, хулиган!.. Прочь от телефона, иначе милицию вызову!..

Я положил обратно трубку, взял ручку, но уже не мог сосредоточиться. Мысли мои напоминали сейчас пчёл, которые разлетелись в разные

стороны после того, как в улье заворошили палкой, а теперь не хотят вернуться в него. Дрожащей рукой я вынул из ящика папиросу, закурил. После второй затяжки телефон вновь заверещал. Я поднял трубку.

– Скажите, пожалуйста, кто у меня родился: мальчик или девочка? – спрашивал уже другой, ласковый, но нетерпеливый голос. – Я целую неделю был на кутане, ничего не знаю...

Я сразу понял, что опять звонят в родильный дом.

– А кого бы вы хотели? – усталым голосом спросил я.

– Мне всё равно, но желательно мальчика – у меня шесть дочерей...

– У вас – мальчик, – произнес я и тут же положил трубку – по крайней мере, теперь не скоро будет звонить.

Через минуту, о боже! – опять звонок.

– Скажите, пожалуйста, жена моя разрешилась? А то мы все дома волнуемся, сидим как на иголках, – человек, который спрашивал, назвал фамилию жены.

Я с полминуты молчал, размышляя: если сказать «не разрешилась», будут звонить опять, опять и опять, поэтому ответил, что она благополучно разрешилась, чувствует себя хорошо, передает привет, целует и прочее.

– А кто у нас родился?

– А кого бы вы хотели?

– Дочку, мечтаю...

– Поздравляю, мечта ваша исполнилась – у вас – дочь, – и положил трубку.

Я взял с кровати подушку, накрыл ею телефон и больше к нему не подходил. Но самая большая неприятность, оказывается, ожидала меня впереди.

На следующий день кто-то раза три ударил ногой в мою дверь с такой яростью, что, казалось, вот-вот она сорвется с петель и с грохотом рухнет на пол. Я мигом подбежал, открыл дверь и увидел перед собой совершенно незнакомого мне мужчину с тремя свертками на руках. Два свертка он держал на правой руке, а один – на левой. Незнакомец был среднего роста и средних лет с суровым, смуглым обветренным лицом, которое украшали отличные черные усы, лихо закрученные кончиками вверх. Одет он был в пиджак, брюки галифе с широкими клинами и мягкие блестящие сапоги. Голову незнакомца венчала серебристая каракулевая папаха с широким бархатным верхом.

– Я узнал, это вы, оказывается, вчера отвечали мне, что у меня родился сын?! – окинул он меня недобрым, почти враждебным взглядом.

По его голосу я сразу догадался, что это тот самый, который говорил, что целую неделю был на кутане...

– Да, я.

– А почему вы мне наврали?! Ведь у меня же родилась тройня – и все три девочки!! Вот они у меня на руках.

– А при чем тут я? Разве я виноват?!

– Я, что ли, виноват?! – резко оборвал он меня. – Если вы сообщили мне по телефону неправду... Кто вас заставлял?

Я чувствовал свою вину и решил благоразумно промолчать. Но тот, крича и бранясь, ставил мне в вину то, чего вовсе не было, о чем я даже не думал.

– Вы хотели разыграть меня, подшутить надо мной, посмеяться?! Где же ваша совесть?! – Он вздохнул, осторожно и бережно поправив на руках свертки, смерил меня злым, ненавидящим взглядом. – Вздумав из-за этого подшутить надо мной, вы тем самым нанесли тяжкое оскорбление не только мне, как отцу, но и моим новорожденным, всему женскому полу...

– Слушайте, я совсем не имел такого намерения, – пытался я успокоить его, – но отец новорожденных не слушал меня, все больше и больше расходясь, продолжал осыпать меня упреками.

– У меня на руках три будущие горянки – три! – он гордо поднял голову. – Горянка сейчас – инженер, горянка – ученый, горянка – министр, о горянках книги пишут, а вы... Эх... жаль, очень жаль, что жена немного подкачала, – в голосе его явственно прозвучали нотки сожаления, – не родила сразу четверых – ей бы повесили на грудь звезду Матери Героини назло вот таким отсталым и пустым насмешникам, как вы... Телефон завели, мебель – заграничная, а мозги с плесенью...

Пока я, страдая и вздыхая, слушал упреки и брань отца новорожденных детей, вдруг с ужасом заметил, что еще один незнакомец в шляпе со строгим, почти сердитым лицом поднимается по лестнице со свертком на руках. Мне показалось, что это тот самый мужчина, которого я поздравил по телефону с рождением дочери, а у него, наверное, родился сын. Теперь и он, видимо, тоже направляется ко мне... Я быстро захлопнул за собой дверь, взволнованный и расстроенный подошел к телефону и тотчас же позвонил самому главному в контору связи.

– Слушайте, почему мне все звонят и спрашивают родильный дом?

– А-а-а! Это очень просто, мы дали вам номер телефона, принадлежавший родильному дому. У них несколько телефонов. Ничего, обойдутся без лишнего телефона. А вы, пожалуйста, не волнуйтесь.

– Как же не волноваться, люди же не знают об этом, звонят мне без конца. У меня из-за этого большие неприятности!

– Да, это вполне возможно, – согласился самый главный, – будут звонить еще.

– До каких пор? – с тревогой спросил я.

– Пока не издадут новую абонементную книжку и не укажут точно, у кого какой номер.

– А скоро ли ее издадут, эту самую абонементную книжку?

– Наверно, не скоро, судя по тому, что последняя абонементная книжка по нашему городу

была издана... ровно пять лет тому назад.

Я в отчаянии схватился за голову, взмолился:

– Тогда дайте мне, ради бога, другой номер.

– Не можем, – холодно отрезал тот.

Я пригрозил, что перережу провод, выброшу телефон в мусорный ящик. Но на это «самый главный» ответил мне своим обычным невозмутимым и приятным голосом.

– Ваше дело – поступайте как хотите, но платить каждый месяц за телефон вам все равно придется, потому что ваш дом телефонизирован, а за вами закреплен номер.

И вот сижу я теперь и проклиная тот день и тот час, когда я обратился в контору связи с настойчивой просьбой, чтобы мне установили телефон. На горе себе я его поставил.

«ЖЕНИХ» БАБУШКИ ФАТЬМЫ

Рассказать вам, что совсем недавно приключилось со мной, старухой? Язык, как вы знаете, когда его держать нечем, сам выскакивает... Вот что со мной приключилось, родные мои: так и быть уж, расскажу вам по секрету. Вечером, когда я выходила из дому, двое дюжих молодцов налетели на меня, как коршуны на добычу, завернули в бурку и без оглядки умчали куда-то.

Я знаю, вас очень удивит, если скажу: сама я хотела, чтобы парни меня похитили. Вы, конечно, будете возмущаться: мол, как это так, кровь что ли вдруг в тебе взыгралась на старости лет, или дурь в голову ударила? Вы, пожалуйста, не лезьте наперед со своими упреками. Знаете поговорку: «Не дойдя до речки, одежды не снимают». То, что я старая, это мне не в укор, а в честь, знать, недаром прожила свой век. Один мой сын – боевой офицер, границу нашу охраняет, другой – лучший чабан. Его портрет вы всегда можете увидеть на Доске почёта, что стоит перед зданием колхозной конторы, а дочь моя, дай бог ей еще много сил и здоровья, десятого ребенка донашивает, можно сказать, без трех месяцев уже «Мать-героиня»... Видите, каких детей я вырастила!

Если хотите знать, в свое время и красотой я блистала не меньше, чем любая молодуха сейчас. Дай бог память, не то шестьдесят, не то семьдесят лет тому назад к нам в аул приезжал ашуг, веселый такой, как соловей в весеннюю пору. Он в своей песне сравнивал мои щеки с румяным яблоком, уста – со сладчайшим медом, а зубы – с аравийским жемчугом. Правда, от этого «жемчуга» остался у меня во рту, как видите, всего-навсего один передний зуб. И стоит мне засмеяться теперь, как мой годовалый внучонок орет благим матом: боится, паршивец, как будто я собираюсь укусить его...

Да, я немного отвлеклась, со мной это случается в разговоре. Тянет меня говорить обо всем сразу. Если вы уж решили выслушать меня, старуху, до конца, придется мириться с этой моей слабостью. Так вот, сижу я позавчера одна в своей сакле, качаю внучка в люльке, песенки ему пою, а сама слегка дремлю. Перед глазами, как вольные облака по небу, плывут одна за другой картины моей далекой юности. И на душе от этого и сладко, и грустно.

Вдруг скорее почувствовала, чем услышала, как отворилась дверь и кто-то осторожно вошел в саклю. Открыла глаза, смотрю – это соседкин сын Микаил к нам пожаловал. У него смуглое, скуластое лицо, мохнатые брови. Я его за версту могу отличить среди других парней.

Он настороженно обвел глазами комнату, потом тихо подошел ко мне. Лицо у него возбужденное, озабоченное и чуточку почему-то озорное.

«Ну, какие добрые дела, Микаил, привели тебя к нам?» – спрашиваю у него.

Он, потупив глаза, смущенно улыбается, перебирает пальцами пуговицы на пиджаке, волнуется.

«Я к вам, бабушка Фатьма, – говорит он, – с одним очень важным делом. Я уверен, вы можете уладить его...» Я смотрю на него и недоумеваю: какое его «важное дело» я могу уладить?.. Что я, судья, прокурор или сваха? Не хватил ли он лишнего? Правда, пьяным я его никогда не

видела. Все же встала и понюхала воздух перед его носом. Запаха спиртного не учуяла, нюх у меня тонкий – не то, что слух. Это еще больше разожгло мое любопытство. «Давай, не тяни, скажи, что ты хотел», – тороплю я.

Опустившись на ковер, Михаил еще раз настороженным взглядом окинул углы комнаты, потом, приблизив своё лицо, горячо зашептал мне на ухо. «Мы хотим сегодня вечером украсть девушку...» Услышав этот хабар, у меня в голове сразу потемнело, невольно потянулась за длинной палкой (я её всегда держу при себе, чтобы, не вставая с места, можно было прогонять кур и цыплят, когда они заходят в саклю). Я грозно оборвала Михаила на полуслове так, что ребёнок в люльке испугался и заплакал.

Михаил взмолился: «Бабушка Фатъма, постойте, я совсем не то хотел сказать, клянусь отцом, выслушайте меня!..» Я выпустила из рук палку, принялась опять качать ребенка.

«Ну, давай, рассказывай, – говорю, несколько успокоенная, недоверчиво поглядывая на него. – Аллах сам тебя не разберет: то ты говорил, что хочешь украсть девушку, а увидел в руках моих палку и сразу на попятную».

Короче говоря, из слов Михаила я поняла, что у него есть закадычный друг Ильяс. А этого Ильяса я сама знаю: красивый, стройный юноша, но человек плохой – пьяница, нигде не работает, живёт на иждивении матери. Он по уши влюблен в девушку Рукият.

Легкомысленный, а знаете, понимает толк в девушках. Будь я, например, парнем, валлах, никому бы не уступила Рукият: стройная, милостивая, к тому же лучшая доярка на ферме. В прошлом году, говорят, заработала шестьсот трудодней. На двух машинах привозили ей зерно и разного добра с колхозного склада. И вот, Ильяс, оказывается, от любви к этой девушке ходит как под хмелем и даже трезвый. Если верить Микаилу, этот бездельник ей тоже нравится. Но замуж выйти за него не хочет, говорит: «Брось пить водку, работай, тогда посмотрим...»

«Правильно, думаю, Рукият рассуждает. На что ей муж-пьяница, с ним не жизнь, а горе». А я Микаилу говорю: «Почему бы тебе самому не жениться на ней, глупый?» А он, опустив голову на грудь, тяжело вздыхает: «Не скрою от вас, бабушка Фатьма, я ее очень любил, да и сейчас люблю, но она ко мне равнодушна, знаете, я некрасив, а красота в любви – большой козырь». – «Гм, ты некрасив, зато он пьяница, – вспыхнула я, – кто же из вас лучше? Красоту на стенку не вешают».

А Микаил товарища не охаивает и ее не осуждает. «Видите ли, бабушка Фатьма, – говорит он. – Ильяс сам по себе человек неплохой, но водка его губит. Надо помочь ему исправиться, женитьба на любимой девушке должна ему помочь. А что касается Рукият, я ее не виню, что она меня не любит – насильно мил не будешь».

На чем это я остановилась?.. Ах, да, надумал, значит, этот пьяница Ильяс похитить славную девушку Рукият, а Микаила просит как друга помочь ему в этом нечистом деле. Микаил не знает, как ему быть: отказать другу – смелости не хватает, опозорить девушку – совесть мучит. Но самое главное, что хотел сказать мне Микаил, он прошептал мне на ушко. Этого я вам пока не скажу, потом..,

Я подумала, подумала, потом в знак согласия кивнула головой.

И вот поздно вечером, когда у нас в доме все поужинали и улеглись спать, я быстро накинула на голову платок и вышла на улицу. Ночь была темная, глухая, на небе мерцали редкие звезды. Крадучись, как тень, я пробралась в тот двор, где живет Рукият. Не успела оглянуться, как что-то тяжелое и черное, будто большущее крыло невиданной хищной птицы, с шумом накрыло меня. Я испуганно вскрикнула. Но чьи-то сильные и ловкие руки, как младенца в пеленку, быстро завернули меня в бурку и взвалили на плечи. Все это произошло в одно мгновение. «Куда ее?» – слышу я сдавленный, тревожный шепот Микаила. «Забыл что ли? – так же тихо, но сердито отвечает ему Ильяс. – Неси скорее в «обитель любви», пока нас никто не заметил».

«Обитель любви» – это огромная закопченная пещера в высокой скале. Она находится недалеко от нашего аула. Весною и осенью во время перегона овец чабаны скрываются

в ней от дождя и гроз. А почему ее называют «обителью любви», спросите вы, любезные мои. Говорят, когда-то один из слуг хана похитил, как меня недавно, девушку из его гарема. Скрываясь от ханского возмездия, они нашли в ней приют для своей любви... Вот какие, значит, дела...

«Ты только осторожно, а то споткнешься и разобьешь ее насмерть, – услышала я опять беспокойный голос Ильяс, когда мы оказались на почтительном расстоянии от аула. – Что-то она и звука не издает. Не задушил ли ты ее сгоряча?» – «Да ты не волнуйся, – проворчал Михаил, который, как купец свой клад, нес меня на своих широких плечах. – Она, видно, с испуга лишилась голоса. Это пустяки... обойдется. А что касается «обители любви», то туда я могу с закрытыми глазами добраться и ни разу не споткнуться о камни».

И вот, наконец, мы в пещере. Михаил, пыхтя, отдуваясь, осторожно, будто хрупкий сосуд, кладет меня на землю, прислонив спиной к стене.

«Зажги фонарь», – слышу я нетерпеливый голос Ильяс. В то же мгновение тусклый свет фонаря в руке Михаила осветил мрачные своды пещеры. Ильяс с жаром кинулся ко мне, наверное, чтобы сказать: «прости мне, мол, мой дерзкий поступок, я без тебя жить не могу!...» А я обеими руками сбросила с себя бурку и в упор уставилась на него, обнажив свои беззу-

бые десны. «Ну, похитил, разбойник?» – зло-
радно спросила я.

Ильяс остановился, как вкопанный, не в состоянии ни двинуться, ни вымолвить слово. «Ах, это вы, бабушка Фатьма?.. – упавшим голосом наконец выдавил он из себя, потом, будто очнувшись, набросился на бедного Микаила: – Кого же ты прихватил, куда твои глаза смотрели?..»

– Туда, куда и твои, – тоже притворившись удивленным и расстроенным, запальчиво отвечает ему Микаил. – Темно было, не разглядел...

Ильяс видит, что дело скверно обернулось, и... бежать. Но не тут-то было! Я успела схватить его за пестрый длинный галстук, как непокорного бычка за веревку. «Я тебя никуда не отпущу. Раз похитил, оскорбил мою женскую гордость, так изволь жениться. Я согласна. Иначе сейчас же иду жаловаться в сельсовет. Тюрьмы тебе не миновать, так и знай!..» А Микаил, сдерживая лукавую улыбку, усердно подмигивает мне, дескать, давай-давай, бабушка Фатьма. Ильяс пятится назад, – видать, боится, очень боится, как бы я не заключила его в свои объятия.

«Что вы, бабушка Фатьма, – в ужасе говорит он, бледнея, – мы ведь по ошибке...»

«А!.. Не я, а другая, значит, должна была стать жертвой твоего разбоя? – наступая на него, грозно говорю я, – что она – вещь, яблоко в чужом саду или тоже человек, как и вы, мужчины,

с сердцем и умом?!. Если бы так похитили твою сестру, мать или невесту, как бы эта самая штука тебе понравилась, а?»

Я его осыпаю, как горохом, бранью, упреками и угрозами. А Михаил толкает его в бок и говорит тихо, но так, чтобы я слышала: «Встань на колени перед бабушкой Фатьмой, проси прощения, иначе мы с тобой пропали!»

И вот, дорогие мои, чтобы вам долго не морочить голову, скажу: кончилось тем, что Илья встал на колени и попросил у меня прощения (ведь позора и тюрьмы никому не хочется). И еще, главное – по моему настоянию он поклялся памятью своего отца (тот погиб на фронте) бросить пить эту отраву – водку, от которой у человека заходит ум за разум, не сидеть больше на шее матери, работать в колхозе, как все нормальные, здоровые люди. А я за это обещала ему никому об этом случае не говорить, а если он исправится – помочь ему жениться на любимой девушке, на Рукият.

Правда, первое свое обещание я нарушила, доверила вам тайну, так я же по секрету, вы же никому не скажете? Зато, клянусь вам, я обязательно выполню второе обещание. Дело только за Ильясом...

ВОЗМЕЗДИЕ

Повесть

*Мужественной женщине,
моей дорогой односельчанке
Гюльбоор Давыдовой
посвящаю эту повесть.*

ЧАСТЬ I

Г л а в а I

ПО СЕЛУ ХОДИТ «ГУДИЛ» ¹

Апрель – чудесный месяц весны. По-летнему пригревает солнце. В садах, сплошным кольцом окруживших селение Нюгди, цветут деревья. Они, словно сказочные пери ², стоят, как зачарованные, в своих пёстрых и ярких нарядах. Лёгкий ветерок доносит нежные запахи цветов, в воздухе раздаётся весёлое щебетание птиц.

Природа торжествует после зимнего оцепенения, упиваясь живительным теплом.

Но сегодня, после нескольких тёплых дней, внезапно похолодало. По низкому небу медлен-

¹ По поверью татов, весной, когда посевам требовалась влага, чтобы вызвать дождь, кто-нибудь в селе обряжался «гудилом» и ходил по дворам. «Гудила» плотно обвязывали свежесрубленными ветками и с песнями водили по селу. Каждый сельчанин должен был плеснуть на него водой со словами: «дай бог влагу» и чем-нибудь отблагодарить. Обычно «гудилом» обряжался самый бедный или нищий, чтобы иметь заработок.

² *Пери* – сказочная красавица.

но, как усталый караван в пустыне, поползли сизые тяжёлые облака.

Селение как будто вымерло. Кривые узкие улочки с приземистыми глинобитными домами пустынно. Все взрослые и подростки в поле. Не слышно голосов и на майдане ¹. На завалинке, любимом месте отдыха мужчин, сидит, широко расставив ноги, обутые в мягкие сапоги, коренастый мужчина средних лет с чёрной, как смоль, курчавой бородой, в каракулевой шапке. Одет он в зелёный атласный бешмет, затянутый широким поясом, украшенным серебром, с которого свисает небольшой кинжал с костяной рукояткой. Тёмно-карие глаза глядят из-под густых чёрных бровей пытливо, подозрительно. Это – сельский староста Гомуил.

Возле него прямо на голой земле устроился худой старик с короткой седой бородкой. Вся его одежда состоит из бязевой рубашки и бязевых штанов неопределённого цвета, настолько они пропитаны потом и грязью. Видно, это незамысловатое одеяние, покрытое бесчисленными прорехами и заплатами, служит его владельцу и нижним бельём, и верхним платьем. Когда старик угодливо наклоняется к Гомуилу, под рубахой отчётливо выступают костлявая спина и рёбра.

Гомуил и старик, пожалуй, единственные из мужчин, оставшиеся в этот день в селе.

¹ Майдан – место сходки сельчан.

Дымя кальяном с аршинным чубуком, они тихо беседуют, бросая время от времени рассеянные взгляды в сторону пышно цветущих садов и телят, резвящихся на прошлогодних гумнах недалеко от майдана.

– Дождя бы сейчас. Вот уже конец апреля, а дождя бог не даёт. Ведь моим полям нужна влага, – произнёс Гомуил, провожая тоскливым взглядом медленно ползущие тучи.

Старик исподлобья посмотрел на старосту. «Если влага нужна только твоим полям и бог справедлив, он не пошлёт её ни капли», – со злобой подумал он, а вслух сказал:

– Бог милостив. Посмотри, всё небо обложено тучами, как скирдами поле. Дождь обязательно будет, может быть, даже сегодня. Не волнуйся, староста...

Гомуил криво улыбнулся. «Не волнуйся», – мысленно повторил он слова собеседника. – «Тебе что? Ты гол, как сокол. Если мои посевы и виноградники загубит засуха, а скот повалит чума, ты даже рад будешь. Знаю я вас, голодранцев! С виду заискиваешь передо мной, а в душе завидуешь...»

Но староста с притворной любезностью вслух также сказал не то, о чём он думал:

– Не говори так, джан Шелбет. В прошлом году в это время тоже была такая погода. Тучи прошли караваном в сторону Хазари и ни капли не уронили на землю. – Немного помолчав, он нахмурил широкие брови и добавил с недо-

вольством: – Не понимаю, почему в этом году никто не обряжается «гудилом». То ли все сильно заняты, то ли никого ещё голод не донимает. Я бы сам сейчас плеснул на него кружку воды.

Не успел староста высказать своё пожелание, как вдруг, словно в ответ на его слова, с окраины села, где начинался лес, донеслись дружные, задорные голоса ребятишек:

– Э-э-э-эй! «Гудил» идёт! «Гудил» идёт!..

Селение, казавшееся безлюдным, неожиданно начало оживать, наполнилось шумом, движением. Из домов поспешно выходили навстречу «гудилу» оставшиеся в селе старухи и беременные женщины. Они несли медные, глиняные кружки и кувшинчики с холодной родниковой водой. Вслед за ними, помахивая пышными хвостами, выбегали со дворов удивлённые псы, не зная, лаять им или повернуть назад. Всполошилась наседка с цыплятами. Завидев приближающуюся ораву мальчишек и засуетившихся женщин, она с громким кудахтаньем, растопырив крылья, бросилась вместе со своим пискливым потомством к забору, словно на неё собиралась налететь стая коршунов.

К майдану медленно двигался «гудил». Он был настолько плотно обвязан с головы до ног ветками с молодыми клейкими листьями, что самого «гудила» не было видно. Создавалось впечатление, будто по улице шагает не человек, а куст с только что распустившимися листьями. Рядом с ним, держа в руке конец верёвки,

которой был обвязан «гудил», шёл худой бледный мальчик в лохмотьях. У него через плечо был перекинут старый длинный мешок, почти касавшийся земли. Мальчик выкрикивал какие-то слова, а босоногая детвора, бежавшая за мальчиком, во всю мощь своих звонких голосов нестройным хором отвечала:

– Хо! Хо!

– Идёт «гудил» по селу! – громко, нараспев произносил заученную фразу мальчик.

А ребятишки с озорными, радостно возбуждёнными лицами и горящими глазами неистово кричали:

– Хо! Хо!

– Да отведёт бог от вас все беды и невзгоды, – напрягаясь изо всех сил, пропел поводырь.

– Хо! Хо! – приходя в неописуемый восторг, повторяли ребятишки.

– Да пошлёт бог небесную влагу!..

– Хо! Хо! – неслоь в ответ.

Около каждого дома «гудил» останавливался. Поводырь, под выкрики разбаловавшихся мальчишек, произносил положенные слова, а тем временем женщины, те, которые помоложе, с весёлым смехом, а более пожилые – с молитвенным шёпотом, обливали «гудила» холодной родниковой водой, затем бросали мальчику в мешок куски чурека, сыпали муку, совали ему в руки яйца.

Увидев приближающегося «гудила», Гомуил по-мальчишески повеселел. Он выхватил из

рук стоявшей рядом молодой женщины медную кружку с родниковой водой и стал поджидать, когда «гудил» поравняется с ним.

Узнав поводирыя, староста нахмурился. Его чёрные лохматые брови сдвинулись. Он понял, кто обрядился «гудилом». Эта встреча была ему неприятна. Всё же Гомуил заставил себя через силу улыбнуться и плеснул водой на «гудила», приговаривая: «Дай бог дождя, дай бог дождя»!

Наблюдая сквозь ветки за старостой, «гудил» увидел, как тот, к общему удивлению, протянул мальчику серебряный полтинник. «Гудил» в ярости затряс мокрыми ветками и хриплым, простуженным голосом крикнул:

– Староста! Этой подачкой не искупишь греха, который лежит на твоей совести. Я еще жив и с тобой расквитаюсь! Брось, сынок, монету к его ногам, – обратился он к мальчику. – Пусть он подавится ею!

Мальчик, растерянный и смущённый, нехотя швырнул монету к ногам старосты, затем вместе с «гудилом» двинулся дальше. Больше он не выкрикивал заученных слов, не зазывал людей, а шёл молча, понуриив голову. И ватага ребятишек, сопровождавшая их, начала понемногу расходиться.

Не успел «гудил» дойти до края села, как небо в нескольких местах прочертили огненные зигзаги, и тотчас же зарокотал раскатистый гром. Долго собиравшийся дождь пошёл

внезапно, гулко барабанил по засохшей пыльной земле.

– Сын, развяжи меня скорее! – раздался хриплый, сдавленный голос «гудила».

Мальчик, поправив на плече мешок, принялся быстро распутывать ивовые прутья. Вскоре связки веток упали на землю. Теперь можно было отчётливо разглядеть человека, только что ходившего «гудилом» по селу. Это был высокий худой мужчина лет сорока с испытанным бледным лицом. На нём была серая, не по росту короткая изодранная рубашка, сквозь прорехи которой просвечивало посиневшее от холода тело. Он дрожал, как в лихорадке. Вдруг он качнулся и, чтобы не упасть, опёрся рукой о худое плечо сына.

– Отец, тебе плохо? – с тревогой спросил мальчик.

Тот в ответ лишь кивнул головой.

Отец и сын, подхлёстываемые холодными струями дождя, крепко ухватившись друг за друга, медленно побрели домой. А хмурое небо продолжало яростно греметь, осыпая землю своими огненными стрелами. Казалось, что разбушевавшаяся стихия хочет повалить этих двух несчастных, сжечь их дотла, как высохшие и ненужные деревья.

Мужчина с помощью сына кое-как добрёл до дому и скорее простонал, чем сказал:

– Сосун, постели мне...

Дом у них, как у многих нюгдинцев, был

глинобитный. Вместо окон в потолке зияло небольшое круглое отверстие, затянутое бычьим пузырьём, отчего углы комнаты даже в солнечные дни тонули в полутьме. В одном из углов комнаты было устроено подобие очага: прямо на земляном полу горел огонь, а дым выходил через отверстие в крыше. Сейчас оно было прикрыто доской, поэтому в комнате стоял едкий дым.

Сосун торопливо сбросил с плеч мешок. Он подошёл к нише в стене, похожей на тёмный провал, и взял оттуда сложенный вчетверо полуистёртый палас, облезлый бараний тулуп и рваное грязное одеяло, пропахшее потом и прокисшим сыром. Расстелив на полу одеяло, мальчик уложил отца и прикрыл его тяжёлым тулупом.

Возле очага сиротливо сидела глазастая девочка лет пяти-шести с родинкой на худеньком заострённом личике и с копной давно нечёсанных волос. Подобрав под себя босые грязные ножки, она безучастно, словно со стороны, глядела на всё происходящее в комнате.

Сосун, устало опустившись на голый пол, с болью в душе смотрел, как отец, свернувшись в комок под тулупом, поминутно вздрагивал. Приглушенные стоны, глуховатый надрывный кашель отца терзали душу Сосуна, вызывая в его воображении печальную картину, когда незадолго до осени вот так же умерла мать.

Тишину нарушил скрип двери. В комнату,

осторожно ступая, вошёл низенький человек с куцей рыженькой бородкой. Быстрые крохотные глазки, острое лицо с коротким подбородком придавали ему сходство с хорьком.

Этот человек в селе считался мастером на все руки: был знахарем, цирюльником, посыльным при старосте, мюрдешуром ¹. Звали его Илогу.

Многие сельчане относились к Илогу с недоверием и опаской, считали его тёмной личностью, и в то же время без него никто не обходился, особенно когда в семье кто-нибудь заболел.

Нюгдинцы любую болезнь объясняли вмешательством нечистой силы. Илогу считался единственным «специалистом» по борьбе с нечистой силой. Чтобы изгнать её из организма, он неизменно применял кровопускание и заговоры. Если больной выздоравливал, то это приписывали магической силе лечения, а если умирал, то обвиняли мрачного и неумолимого посланца бога – ангела смерти Азраила. В любом случае Илогу выходил сухим из воды.

Илогу появлялся в доме вместе с бедой. Так и сейчас, окинув быстрым сверлящим взглядом полутёмную комнату с голыми глиняными стенами, знахарь подошёл к больному. Присев перед ним на корточки, Илогу приподнял край тулупа и посмотрел на пылающее лицо больного.

¹ Мюрдешур – человек, обмывающий покойника.

– Шебетей, добрый день, – вкрадчиво произнёс он. – Ай, какая беда! Это я, Илогу... Не знал, что ты сильно болен. Давно бы пришёл... Ну, как ты себя чувствуешь?

– Плохо, очень плохо, – глухо простонал Шебетей.

– Ничего, не расстраивайся, поправишься. Твое счастье, что я к тебе забрёл случайно, дождик загнал... Буду тебя лечить, кстати, и инструмент со мной... Пущу тебе кровь, прочитаю заговор, и болезнь как ветром сдует... У меня рука лёгкая, – захихикал знахарь, обнажив свои мелкие прогнившие зубы. – А насчёт вознаграждения не беспокойся. Бог даст, поправишься – уплатишь, – деловито заключил он.

Илогу приподнял тулуп и повернулся к мальчику. Маленькое лицо знахаря приняло серьёзное, озабоченное выражение. Он, казалось, острым взглядом своих зеленоватых глаз хотел пронзить Сосуна, с надеждой и немой мольбой глядевшего на него.

– Принеси таз, будем пускать больному кровь, – строго приказал знахарь.

Пока Сосун ходил за тазом, знахарь развязал свой узелок с инструментом, помог больному приподняться. Взяв Шебетей за локоть, Илогу засучил до плеча рукав его рубашки, а затем принялся с силой тереть руку больного, пока не вздулись синеватые жилы. Поставив перед собой медный таз, Илогу порылся короткими проворными пальцами в узелке, достал

оттуда что-то блестящее, похожее на тонкий обоюдоострый нож и воткнул его острым концом в вену Шебетей. Тот вздрогнул и застонал от боли. В то же мгновение из вскрытой вены хлынула чёрная струя крови, обрызгав стену. Знахарь придвинул таз, повернул худую дрожащую руку Шебетей, и струя крови с тонким звоном застучала о дно таза.

С каждой минутой кровь в тазу прибывала, но знахарь не выпускал руки больного. А когда тот начинал делать беспокойные движения, Илогу ещё крепче стискивал его руку и говорил:

– Не веди себя как мальчик, потерпи немного.

Вдруг Шебетей как-то обмяк, голова свалилась набок, и он лишился сознания.

– Папа, папа! – в страхе закричал Сосун и метнулся к больному.

Услышав голос брата, девочка, молча сидевшая у тлеющего огня, наблюдая со страхом и удивлением за жуткой процедурой, вскочила, как ужаленная.

– Ой, мой папочка! Ой, мой папочка! – жалобно заголосила она, размазывая грязными кулачками слёзы на бледном личике.

– Да вы что разревелись?! – прикрикнул знахарь на детей. – Ничего с вашим отцом не случилось. Потерпите, скоро всё пройдёт.

Обращаясь к Сосуну, он добавил с укором, кивнув головой на плачущую девочку:

– Она девчонка, да ещё маленькая! Ей про-
ститительно плакать, а ты ведь парень!..

Больного опять уложили. Рану перевязали
тряпкой. Знахарь вынул из кармана своего ко-
роткого чохо ¹ куриное яйцо, покрутил им над
головой Шебетей, бормоча какие-то непонят-
ные слова. Потом передал яйцо Сосуну.

– Пойди в лес, найди дерево с дуплом и
разбей об него яйцо. В этом яйце заложен за-
родыш живого существа. Пусть этот зародыш
будет жертвой за твоего отца.

Покончив с наставлениями, знахарь связал
узелок с инструментами и поспешно удалился
своей кошачьей походкой.

Г л а в а II

МЕЧТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

По широкому скошенному зелёному лугу,
заросшему со всех сторон густым камышом,
разбрелось стадо коров. Всё вокруг залито весё-
лым солнечным сиянием. На фоне ясного сине-
го неба отчетливо выделяются густые кроны
далёких деревьев. Они напоминают длинную
цепь каких-то сказочных зелёных облаков.

Сельский пастух Шебетей, опершись на
ярлыгу, засмотрелся на лазурный край неба.

¹ Чохо – один из видов мужской одежды.

Никогда ему жизнь не казалась такой прекрасной, как сегодня. Он мечтает о том дне, когда получит расчёт с хозяев за работу и сможет купить собственный клочок земли. Пусть он будет небольшой, но зато свой. А своя земля – надёжный кусок хлеба. Тогда можно навсегда расстаться и с пастушьим посохом.

Работу пастуха он ненавидел. С детства он слышал, что быть пастухом унизительно. В их селе в пастухи нанимались или калеки, или бедняки, не имевшие ни земли, ни личного хозяйства. Сельчане считали для себя зазорным породниться с пастухом. Даже самый бедный крестьянин не согласился бы выдать за пастуха свою дочь или жениться на его дочери, сестре, как будто пастух был самым презренным человеком, потерявшим свою честь.

Пастуха на каждом шагу подстерегали неприятности. Если корова начинала давать меньше молока, хозяйка сразу же бежала к пастуху и ругала его самыми обидными словами, обвиняя в нечестных поступках.

Трудно было угодить владельцам коров. Каждый считал своим правом выругать пастуха. Одни ругали его за то, что он рано выгоняет коров на пастбище, не даёт хозяйкам управиться с дойкой, а другие, наоборот, считали, что он лодырничает, долго по утрам задерживается в селе.

Поэтому Шебетей и мечтал рано или поздно бросить это неблагодарное занятие, стать

хозяином хотя бы небольшого клочка земли. Эта давняя мечта Шебетей теперь, как никогда, была близка к осуществлению. Вот уже скоро год, как подпаском у него работал не чужой человек, а собственный сын, Сосун. Свой заработок ни с кем делить не придётся.

Шебетей прикидывал в уме, сколько пшеницы он получит, когда закончится уборка хлебов. Результаты подсчёта вызывали у него радостную улыбку. Часть пшеницы надо оставить для семьи, остальное зерно смолоть, а муку отвезти в город на продажу. Так года через два-три можно накопить деньжонок, а потом по сходной цене купить небольшой участок земли.

Он уже в мыслях видел себя хозяином этой земли: вот он ходит за сохой, прокладывая первую борозду, вот он с лукошком на шее разбрасывает уверенной рукой семена, вот он на телеге, доверху нагруженной тяжёлыми золотистыми снопами, гордо въезжает в село...

Поглощённый своими мыслями, Шебетей даже не заметил, как пролетело время, и солнце скрылось за ближайшим лесом.

– Сосун! – окликнул размечтавшийся пастух сына, усердно лупившего палкой двух непослушных быков, выставивших рога для драки. – Собирай стадо, пора домой.

Вскоре сытое, отяжелевшее стадо, поднимая облака пыли, нестройно двинулось по дороге мимо созревающих пшеничных полей,

мимо огородов, сплошь покрытых буйными плетнями дынь и огурцов, мимо садов и виноградников.

На майдане уже собрались женщины с хворостинами в руках, с нетерпением ожидая возвращения своих коров. Оглашая воздух разноголосым мычанием, животные разбрелись в разные концы селения, к стойлам.

Распустив стадо, отец и сын пошли домой. Дома они сбросили с ног пыльные, одревеневшие чарыки и стали умываться.

В это время Пери, дочка пастуха, привыкшая по целым дням оставаться дома одна, беззаботно играла во дворе. Подражая взрослым женщинам, она усердно хлопала в ладоши и бойко бранилась, приговаривая: «Да лишится глаза тот, кто сглазил мою бурёнушку, да высохнет селезёнка у того, кто завидует моему добру...».

Девочка настолько была увлечена игрой, что не заметила, как во двор вбежал опрятно одетый круглолицый, курносый мальчик лет десяти с живыми чёрными глазами. Он направился, было, в дом пастуха, но, увидев маленькую Пери, остановился с застывшей улыбкой на простодушном лице. Пери, заметив чужого мальчика, наблюдавшего за её игрой, сразу умолкла. В смущении опустив кудрявую головку, она принялась медленно водить босой ножкой по земле. Мальчик, продолжая глядеть в зардевшееся лицо девочки, вдруг звонко рассмеялся.

– Клянусь папой, ты ругаешься и хлопаешь в ладоши точь-в-точь, как старая Гавхар, – с нескрываемым восхищением проговорил он. – Каждое утро она залезает на крышу и там бьёт в ладоши и ругается, ругается...

– А зачем она ругается? – поборов смущение, но не глядя на словоохотливого мальчика, спросила Пери.

– У неё по ночам кто-то с крыши таскает сушёные яблоки и абрикосы, вот она и ругается, – охотно пояснил мальчик. – А ещё говорят, она ругается и потому, что старуха Гавхар – ведьма. Ведьмы ведь всегда злые, они, понимаешь, не могут не ругаться ...

Мальчик вдруг, точно спохватившись, прервал свои объяснения. Он быстро заморгал своими чёрными глазами, на его лице появилась виноватая улыбка.

– Меня же послали сказать... – Его курносое лицо вдруг стало серьёзным и озабоченным. – Знаешь что, скажи твоему папе, что мой папа велел ему сейчас же придти. Поняла? Мой папа ведь староста. Понимаешь? А меня звать Эсеф, – не без гордости уточнил он.

Девочка, ничего не ответив, быстро сорвалась с места и стремительно побежала к дому.

– Приходи на нашу улицу играть, будем с тобой дружить! – крикнул ей вслед Эсеф, приподнявшись почему-то на цыпочки.

– Я с мальчишками не дружу, – бросила в ответ девочка и юркнула в комнату.

... Не прошло и четверти часа, а пастух уже стоял у ворот старосты и с покорным видом выслушивал его упрёки. Гомуил обвинял пастуха в том, что одна из его коров по кличке Джайран не вернулась с пастбища.

– Из ста десяти моих коров она самая молочная. Такая корова стоит целого стада! – кричал староста на всю улицу. – Если Джайран не найдётся, мы с тобой не поладим, так и знай! – пригрозил Гомуил.

Шебетей вначале не придавал значения этой угрозе. В селении были нередки случаи, когда чья-нибудь корова, отбившись от стада, находила себе полянку с вкусной травой. Вечером или среди ночи беглянка благополучно возвращалась домой. Иногда заблудившуюся корову разыскивали и пригоняли в село. Поэтому Шебетей спокойно отнёсся к ругани старосты. Он не стал ни возражать, ни успокаивать разволновавшегося хозяина коровы, а отправился прямо в те места, где обычно паслось стадо.

До поздней ночи блуждал пастух по лугам, полям, и лесам, но коровы так и не нашёл.

Домой он вернулся злой, усталый и встревоженный.

После разговора с Гомуилом Шебетей, оставив стадо на попечение сына, каждый день бродил до глубокой ночи по тем местам, где обычно находили заблудившихся коров, спрашивал о пропаже каждого встречного, описывал её приметы, но поиски оставались безуспешны-

ми. Корова как сквозь землю провалилась.

Шебетей, лазая по лесным зарослям, изорвал за неделю последнюю одежонку. Все эти дни он не знал ни сна, ни покоя, осунулся, помрачнел. А староста уже начал грозить судом, клялся, что не уплатит ни одной мерки пшеницы за пастьбу его коров.

На восьмой день Шебетея вызвали в соседнее селение, где находилась участковая полиция. Больше он оттуда не вернулся. В селении прошёл слух, что пастуха посадили в тюрьму за кражу. А спустя несколько дней после ареста Шебетея Гомуил, пользуясь правом старосты, запретил его сыну пасти общественное стадо.

Неизвестно, сколько бы времени пришлось пастуху Шебетею томиться в тюрьме, если бы неожиданно не объявилась пропавшая Джайран. Произошло это в первых числах апреля. День был праздничный, и все сельчане находились дома. Седобородые старики собрались возле прошлогоднего гумна. Они сидели на мягкой весенней траве и мирно беседовали. На почтительном расстоянии от них молодёжь играла в чехарду. Женщины, собравшись группами у своих дворов, лузгали подсолнухи и громко разговаривали, перебивая друг друга. Вдруг недалеко от гумна, на дороге, где кончались сады, послышалось протяжное мычание, а потом, словно из-под земли, выросла пятнистая Джайран. Корова сперва остановилась, будто хотела убедиться, туда ли она попала, а потом

с радостным мычанием помчалась мимо удивлённых людей.

Внезапное появление загадочно пропавшей коровы обрадовало земляков пастуха. Восемь месяцев прошло с того дня, как Шебетей был заключён в тюрьму. Недавно сельчане узнали, что пастух в неволе тяжело заболел. А дети его бедствовали. Они существовали на то, что им давали сердобольные соседи. Теперь все убедились, что пастух ни в чём не виноват и его обязательно должны освободить. Решено было всем джамаатом ¹ написать прошение большим хакимам ².

... Однажды под вечер нюгдинцы, собравшиеся на майдане, увидели приближающегося к ним высокого, чуть сгорбленного худого человека. Он шёл, покачиваясь. Издали его худая, как жердь, фигура, покрытая лохмотьями, напоминала чучело, качающееся на ветру.

– Да это никак Шебетей, дорогой мой сосед! – напряжённо вглядываясь в приближавшегося человека, с удивлением воскликнул невысокий коренастый крестьянин по имени Рахмон.

Сельчане окружили Шебетей. К нему сразу потянулось несколько рук для приветствия.

– С приездом, Шебетей! Дай бог тебе сто лет жизни на радость детям! Да минуют тебя все беды и несчастья!.. – раздавались со всех сторон возгласы.

¹ Джамаат – сельское общество.

² Хаки – начальник.

А Шебетей с радостью пожимал дружески протянутые к нему руки, благодарной улыбкой отвечая на приветствия односельчан.

– Ну как жилось тебе там, в этой проклятой тюрьме? – спросил его старый Шелбет, проталкиваясь вперёд.

– Э-э-э! – недовольно покосился на него Рахмон. – Разве по нему не видно, что жилось ему там не лучше, чем грешнику в аду. Дай бог так жить старосте и всем его близким.

Только теперь сельчане обратили внимание на то, как изменился за эти восемь тюремных месяцев Шебетей. Лицо его вытянулось, заострилось, лоб и щёки прорезали морщины. Глубоко запали ещё не так давно полные жизни глаза. Они как бы потухли, стали бесцветными. Седина, посеребрившая его короткую чёрную бороду, преждевременно состарила бывшего пастуха.

Шебетей был бесконечно рад такой приветливой встрече с односельчанами, но сейчас ему не терпелось скорее увидеть детей. Наскоро попрощавшись с друзьями, он поспешил домой.

Сердце Шебетейя часто-часто забилось, когда он подошёл к своему осиротевшему дому. Прежде чем открыть калитку, он немного постоял на улице, чтобы успокоиться, побороть волнение. Входя в дом, он хотел бодро окликнуть своих детей, но его голос осёкся и прозвучал, как сдавленное рыдание. Сосун и Пери,

увидев отца, вне себя от радости бросились к нему. Шебетей, задыхаясь от охватившего его волнения, обнимал детей, прижимал их к груди. С болью в душе всматриваясь в измождённые лица детей, он не мог удержаться от слёз.

– Детки мои, родные... – повторял он без конца, не в состоянии больше выговорить ни слова. Он жадно целовал их в щёки, в глаза.

На другой день Шебетей проснулся рано. Его разбудил чей-то тихий плач и сдавленный сердитый шёпот. Ему сначала показалось, что он находится в тюремной камере. Прислушавшись, он понял, что находится на свободе и слышит не чужие голоса. Вместе с ним его родные дети. Но радость Шебетей тут же сменилась печалью. когда он понял, о чём спорят дети и почему плачет его дочка.

– Хлеба хочу, хоть корочку, – протяжно ныла девочка.

– Молчи, сатана, откуда я возьму сейчас тебе хлеба? – отвечал Сосун, угрожающе сжимая кулаки и бросая в то же время беспокойные взгляды в сторону спящего больного отца. – Потерпи немного, сбегая в лес, наберу грибов, травы, сварю похлёбку... Не умрёшь...

На голодного ребёнка не действовали ни угрозы, ни уговоры брата.

Из стеснённой груди Шебетей вырвался глубокий вздох, похожий на протяжный стон. Сосун, услышав, что проснулся отец, строго посмотрел на внезапно умолкнувшую сестру.

Шебетей, кряхтя и охая, присел на постели.

– Сынок! – сказал он Сосуну, – попроси у Рахмона топор. Сходим в лес, нарубим веток, обрядишь меня «гудилом» и будешь водить по селу. С неделю проживём на то, что подадут добрые люди, а там бог милостив...

Сосуну тяжело было слышать эти слова. Мальчик ведь знал, что «гудилом» обряжаются или попрошайки, привыкшие нищенствовать, или молодые парни на потеху всего села.

– Может быть, пока не надо, обойдёмся и так... – попытался он отговорить отца.

– Другого выхода нет, сынок, – твёрдо произнёс Шебетей, с трудом поднимаясь с постели.

... После неприятной встречи с «гудилом» на майдане обозлённый староста сразу же вернулся домой. Его бесило, что какой-то Шебетей, сельский пастух, нищий, осмелился нанести ему тяжкое оскорбление, швырнув на землю его деньги. Староста привык к тому, что никто в селе не смел ему даже перечить – и вдруг получить такую пощёчину при всём народе! Гомуил сам удивлялся, как его рука, в тот момент машинально сжавшая рукоятку кинжала, не нанесла удара обидчику. Сейчас, сидя у себя дома на двойных расшитых подушках, Гомуил как бы снова переживал происшедшее на майдане. Отомстить за позор, наказать обидчика! Но как? Проклятый Илогу! Это он во всём виноват, чтоб ему пусто было!

Вспомнив о своем подручном, Гомуил в бессильной злобе начал в душе ругать всех его родных, и живых и мёртвых, накликаая на его голову тысячи бед и смертей.

Дверь в комнату отворилась, и на пороге показалась приземистая фигура Илогу. Он был до нитки мокрый. Не спуская настороженного взгляда с хмурого лица Гомуила, Илогу с покорным видом подошёл к хозяину. Зябко поёживаясь, он почтительно и заискивающе сказал:

– Добрый день, ага¹ староста! Ты велел мне явиться?

При виде Илогу старосту взорвало. Гомуил, подавшись вперёд, с яростью застучал своим увесистым кулаком.

– Говори, мошенник, как ты меня обманул и сделал посмешищем всего села?! – с налитыми кровью глазами закричал староста. – Не ты ли говорил, что обделаешь это дело так, что о нём не будет знать ни одна душа, кроме нас с тобой? А что получилось? Теперь все на селе шушукуются, перешёптываются за моей спиной, провозжают меня подозрительными взглядами. А ещё этот голодранец Шебетей...

Староста в немой ярости стиснул зубы. Он нервным движением достал из бокового кармана атласного бешмета кальян и кисет с табаком. Илогу, улучив момент, быстро вынул из своего кармана кресало с кремнем, выбил искру и за-

¹ Ага – господин.

жѣг сушёный мох. Опустившись перед старостой на корточки, он положил горящий, приятно пахнущий мох на набитый табаком кальян Гомуила.

– Я же подробно рассказывал об этом случае. Если вышло не по-нашему, я ни при чём, клянусь твоей жизнью, – проговорил Илогу, заискивающе глядя в глаза хозяину.

... «Случай», на который намекал посыльный старосты, произошёл почти год назад.

В один из летних вечеров староста сидел дома и сосредоточенно стучал костяшками на счётах. Он прикидывал, во что ему обойдётся постройка новой водяной мельницы и дюнг¹ для обмолота чалтыка. От мельницы и дюнга он рассчитывал получить немалый доход, и всё же ему жалко было тратить деньги на постройку, вот он и выискивал возможные «резервы».

– Что если я дам этому голодранцу Шебетею не сто десять мерок пшеницы, которые ему причитаются, а?.. – Гомуил вопросительно уставился на своего посыльного, который уселся напротив старосты и своими колючими глазками следил за движением его пальцев, перебиравших костяшки на счётах.

Ненасытная алчность старосты даже у Илогу вызывала отвращение. Но он полностью зависел от старосты, боялся его, поэтому и угождал перед ним, во всём ему поддакивал.

¹ Дюнг – самодельное приспособление для обмолота риса.

– Конечно, если каждому раздавать по сто мерок пшеницы, можно и разориться, – с притворным сочувствием произнёс Илогу.

Немного помолчав, он заговорил тихим, доверительным тоном, вытянув свою короткую шею:

– Можно сделать и так, что пастух не получит ни одной мерки пшеницы, – загадочно улыбнулся Илогу.

– Как же это сделать? – спросил Гомуил, и тонкие ноздри его горбатого носа затрепетали, как у хищника, почуявшего добычу.

– Очень просто, – захихикал Илогу, показывая редкие зубы. – Можно одну из твоих коров угнать тайком от пастуха в какое-нибудь дальнее село, а потом, когда обнаружится пропажа, обвинить в краже Шебетея. Для меня это сущий пустяк по сравнению с тем делом, которое когда-то мы с тобой обстряпали на берегу реки Гюльгерычай...

При последних словах Илогу староста вздрогнул и застыл неподвижно, уставившись на своего болтливого посыльного удивлённым и сердитым взглядом.

– Замолчи ты, сумасшедший! – прошептал он, со страхом указывая глазами на дверь соседней комнаты. – Там жена, услышит... Тоже нашёл время и место вспоминать о прошлом! Немного успокоившись, он с еле приметной довольной улыбкой на бородатом лице сказал: – А насчёт увода коровы из ста-

да ты придумал неплохо, ей-богу неплохо!..

В тот же день, когда пастух Шебетей пригнал коров на широкий зелёный луг и, опершись на посох, мечтал о том, как он станет хозяином собственного участка земли, посыльный старосты, поминутно оглядываясь, подкрадывался в густых камышах к стаду коров. Когда одна из коров старосты, беззаботно щипавшая траву, подошла вплотную к густым камышовым зарослям, Илогу ловко заарканил её и потащил в камыши...

... Спустя восемь месяцев пропавшая корова сбежала от нового хозяина и приплелась в село. Неожиданное появление коровы спутало все расчёты Гомуила и Илогу.

И вот теперь они сидели вдвоём и придумывали, как выпутаться из этой неприятной истории.

– Ладно, давай подумаем, что нам делать, – мрачно, с явным беспокойством произнёс староста. – Только имей в виду, если твоя проделка с коровой станет известна Шебетею, хлопот не оберёшься. – Он строго посмотрел на собеседника, сделал несколько глубоких затяжек, выпуская изо рта клубы сизого табачного дыма. – Пастух, кажется, болен, надо ему «помочь», пустить кровь... Болен он или нет? Я тебя спрашиваю! – повысил голос Гомуил.

– Да, да, еле держится на ногах, – с готовностью подтвердил Илогу. Не поняв смысла вопроса, добавил: – Мы же пускаем кровь,

чтобы изгнать из тела болезнь, нечистую силу.

Несколько мгновений Гомуил молчал, с укором глядя на своего несообразительного слугу.

– Какой же ты непонятливый! – Староста окинул презрительным взглядом маленькую, сгорбившуюся фигуру знахаря. – Разве ты не знаешь, что душа человека блуждает в его крови?..

– Знаю.

– А разве тебе не известно, что вместе с нечистой силой можно изгнать из тела больного и его душу? – с расстановкой произнёс Гомуил, окончательно рассердившись. – Для этого больному надо пустить кровь больше, чем нужно...

Илогу с застывшими глазами внимательно слушал Гомуила. Внезапно он встал, решительно повернулся к двери, с силой распахнул её и почти бегом выскочил на улицу под проливной дождь.

Г л а в а III

ЧЕЛОВЕК С «ТОГО СВЕТА»

К вечеру состояние больного резко ухудшилось. Он часто терял сознание, не узнавал навещавших его знакомых.

Сосед Шебетей Рахмон провёл всю ночь у изголовья больного, стараясь облегчить его

страдания. Почерневшее лицо пастуха, ещё больше осунувшееся после «лечения» знахаря, покрылось капельками холодного пота, неестественно блестящие глаза смотрели тупо и бессмысленно, а в груди хрипело и kloкотало. Больной задыхался и беспокойно метался на постели.

Всегда весёлый Рахмон, сейчас, глядя на больного, на его убитых горем детей, напуганных страхом близкой смерти отца, поминутно вытирал катившиеся по щекам непослушные слёзы.

Рахмон был ещё молодым, ему едва минуло тридцать лет, а он уже стал дедушкой. Рахмона женили на тринадцатилетней девочке, когда ему шёл пятнадцатый год. В прошлом году он выдал замуж свою тринадцатилетнюю дочку, которая недавно стала матерью. Кроме дочери, у Рахмона было ещё девять детей мал-мала меньше. Его жена Майрам, маленькая, худенькая женщина, с бледным измученным лицом и заострёнными скулами, рожала ежегодно. Про неё говорили в селе, что она всегда беременна. Такая плодовитость супруги пугала Рахмона, и он постоянно её упрекал:

– Корова бы из тебя вышла на зависть всему свету, а как жена – ты божья кара для бедняка.

– Не гневи бога, Рахмон! – умоляла его жена. – Ведь это он, всевышний, даёт нам детей. Только не знаю, за что. То ли за нашу доброту,

то ли за грехи наши. Кто его знает, что у него на уме.

Обременённый большой семьёй, Рахмон всегда жил в бедности. И всё же весёлое настроение не покидало его. Жизнерадостный от природы, он любил пошутить, побалагурить, прекрасно играл на зурне, иногда сочинял песни. За эти «пустые затеи» степенные крестьяне считали его чудаком, легкомысленным человеком.

Но этот чудаковатый человек имел отзывчивую душу. И вот сегодня после целого дня тяжёлой работы в поле он всю ночь сидит, не смыкая глаз, у постели больного. Рахмон то вытирает холодный пот, застилающий глаза больному, то придерживает его, когда он в бреду пытается вскочить с постели.

К рассвету Шебетей, обессиленный болезнью, лежал неподвижно, его глаза потеряли неестественный блеск, затянулись мутной пеленой, а бурное дыхание сменилось слабыми хриплыми звуками. Потом больной вздрогнул от судороги, пробежавшей по всему телу, вытянулся и больше не шевельнулся. С вторжением смерти в комнате повисла тяжёлая, гнетущая тишина, И вдруг раздались тихие, полные печали и тоски слова молитвы. Это пел Рахмон, закрывая веки покойного:

*В мире всё – ничто, суета сует,
Один ты, господь, вечен на не-бе-сах...*

Утром пастуха обмыли, зашили в саван,

купленный на гроши, собранные сельчанами, положили на катафалк и отнесли на кладбище. Саван был, пожалуй, единственной обновкой, в которую одели Шебетея.

Нюгдинцы предали покойного земле. Потом все, провожавшие Шебетея в последний путь, собрались неподалёку от кладбища, у ручья из чистой родниковой воды, заросшего осокой. Наскоро умывшись, они молча сбились в кучу и, повернувшись лицом к востоку, застыли в молитвенных позах.

Раби¹ Нахум – пожилой человек, с длинной густой квадратной бородой ассирийского царя, какими их рисуют в школьных учебниках, знаком подозвал к себе Сосуна.

– Повторяй за мной всё, что я скажу, мой сын, – тихо, но внушительно сказал он мальчику.

– Я, родной сын своего отца, кровь от крови, плоть от плоти его, – отчеканивая каждое слово, произнёс раби.

– Я, родной сын своего отца, кровь от крови, плоть от плоти его, – смущаясь и волнуясь, повторил Сосун при торжественном молчании присутствующих.

– Заявляю перед лицом всего народа, – продолжал раби диктовать мальчику, – клятвенно заявляю, что, кроме меня, у моего отца нет сына. Если кто под моим обличем и под моим

¹ Раби – духовное лицо, раввин.

именем явится к отцу моему и будет тревожить и терзать его, пусть того постигнет проклятье народа!

Когда Сосун слово в слово повторил всё, что сказал раби, собравшиеся в один голос дружно воскликнули «аминь»!

Вечером в осиротевший дом пастуха пришли односельчане Шебетей, чтобы почтить память усопшего и разделить горе его детей. Поужинав, мужчины устроились поудобнее, закурили кальян и повели между собой тихую беседу. Их лица, освещённые скудным колеблющимся светом коптилки, были задумчивы и торжественно печальны.

Разговор, как и принято в таких случаях, зашёл о покойнике, о его честности, трудолюбии. Все расхваливали его действительные и мнимые достоинства, говорили о том, что, не произойди этого рокового случая с пропажей коровы старосты, Шебетей был бы жив, сидел бы среди них, растил бы детей.

Потом разговор незаметно перешёл на старосту. Заговорили о бесчинствах Гомуила. Собравшиеся открыто роптали на старосту, давая выход давно накопившейся в душе обиде.

– Теперь нам и податься некуда, – с горечью проговорил мужчина средних лет в высокой коричневой папахе и рваном бешмете. – Куда ни пойдешь, везде наткнёшься на землю старосты. Ему мало своего добра, так он начинает забирать луга и леса нашей общины. Скоро и

за выпас, и за лес мы будем ему платить.

– И без того сколько нам приходится платить разных сборов, – поддержал его молодой парень. – Царю платим подушный налог – раз! – заломил он один палец на левой руке. – За аренду земли – два! – заломил он второй палец. – Старосте за то, что командует нами – три! Раби за то, что молится за нас – четыре! Знахарю за то, что бреет нас и пускает кровь...

– Не считай, – перебил его Рахмон с горькой усмешкой. – Всё равно пальцев не хватит, придётся у соседа занимать. Лучше я вам расскажу, – повернулся он к сидящим, – как староста ездит к губернатору и выпрашивает у него купчую на наши общинные земли, наивные вы, глупцы!

Он помолчал и обвёл всех своими карими насмешливыми глазами.

Слова Рахмона вызвали у одних недоверчивые улыбки, а у других – откровенный интерес. Но и те и другие стали слушать его со вниманием. И Рахмон начал рассказывать о губернаторе, его привычках, вкусах и семейных делах с такими подробностями, словно он не раз бывал в его обществе и лично знал правителя Дагестана.

По рассказу Рахмона, губернатор живёт в роскошном мраморном дворце в Темир-Хан-Шуре и приходится родным племянником дарю Николаю. Каждый, кто идёт к губернатору на

приём, должен преподнести ему пишкеш¹ – четверть монопольной водки и варёную свиную голову. От частого употребления водки и свинины губернатор и его жена, которую зовут Каспожой², будто бы сами растолстели, как свиньи, поэтому их всегда возят на арбе, запряжённой четвёркой здоровенных рысаков...

Всё более и более воодушевляясь собственным рассказом, Рахмон стал описывать характер и поведение губернаторши.

– На виду у всех она ходит почти раздетая, с открытой грудью и спиной. Мало того, Каспожа позволяет каждому мужчине целовать при муже свою руку или танцует с мужчинами в обнимку.

Мужчины засмеялись, а женщины, в ужасе от услышанного, осуждающе закачали головами.

– Вай, вай, как же её муж, этот самый губернатор, не отрубит кинжалом ей голову или не прогонит её из дому? – спросила Рахмона повивальная бабка Эвшег, молодящаяся пожилая женщина с ярко-рыжими волосами, выкрашенными хной.

– У них такой обычай, – с видом знатока равнодушно произнёс Рахмон.

– Неужели и Гомуил носит губернатору свиную голову? – возмутился старик Шелбет, брезгливо морщась. – Да как же он не боится прикасаться рукой к свинье, осмеливается

1 *Пишкеш* – подарок.

2 *Каспожа* – искаженное «госпожа».

нарушать святыне законы наших отцов!

– А ты что думал? – не унимался Рахмон, как бы дразня Шелбета. – Из-за богатства Гомуил не только святой закон, а родную мать продаст. Если хочешь знать, он сам не прочь откусывать вместе с губернатором от свиной головы, только бы ему прирезали лишний участок нашей общинной земли или леса.

– Вай, хватит! – запротестовал кто-то, брезгливо прикрыв ладонью рот.

– Почему же тогда раби с ним дружит? – недоумевая, спросил молодой нюгдинец, который до этого подсчитывал на пальцах крестьянские налоги и сборы.

– За богатство ему всё прощается, – сердито бросил Рахмон. – Вы что, разве поговорки не знаете: «У святых отцов не найдёшь концов»?

– Валлах, пошёл бы я к губернатору, с жалобой на Гомуила, а как вспомню, что ему надо нести пишкеш – свиную голову, дрожь меня пробирает, – не то в шутку, не то всерьёз сказал старик Шелбет.

В разгар беседы в комнату вошёл староста. Его сопровождал раби. Все поднялись и продолжали стоять, пока пришедшие не прошли в глубь комнаты, где расположились мужчины, и не уселись между ними. Собравшиеся, соблюдая приличие, молчали: ждали, когда раби заговорит первым.

Некоторое время раби сидел неподвижно с опущенными глазами, словно что-то перебирая в памяти. Затем, выбрав приличествующую для

сегодняшнего вечера тему, он своим певучим ровным голосом начал читать проповедь о душе. Раби говорил о том, как душа после смерти человека предстаёт перед божьим судом на небесах. Там, в присутствии ангелов, взвешивают на весах добрые и злые дела покойного и решают, куда поместить его душу: или в райские сады, где её ожидает вечное блаженство, или в подземный ад, где душа грешника будет гореть в вечном огне.

Раби призывал больше заботиться о сохранении души, а не тела, обуздать плотские желания, не завидовать чужому добру, довольствоваться тем, что есть у каждого, прощать обиды, посещать божий храм, строго соблюдать субботу, праздники и посты.

Гомуил сидел с напускной печалью на лице и делал вид, что всё, о чём говорил раби, его, как набожного человека, глубоко трогает и волнует. А тёмные, забытые нюгдинцы слушали своего красноречивого проповедника с неподдельным чувством страха.

– Простите, раби, – вкрадчиво произнесла любопытная старуха Эвшег, прикрывая рот платком, – вот когда покойник Шемей приходил с того света домой, его душа была с ним?

Все с выражением острого любопытства и едва заметного испуга посмотрели на старого раби Нахума. У каждого был ещё свеж в памяти этот трагический случай.

...Лет десять прошло с того времени, как

нюгдинцы похоронили своего земляка Шемея. Это был высокий, крутоплечий мужчина лет сорока. Он удивлял всех своей недюжинной силой. Работая на току, Шемей без особых усилий поднимал с земли тяжёлые мешки с зерном и, словно сухие снопы, подбрасывал их в арбы. А если случалось, что его лошадь не в силах была вытянуть повозку, застрявшую в липкой грязи или в ухабе, то Шемей сам впрягался в оглобли и без труда вытаскивал повозку.

Частенько нюгдинцы с гордостью и весёлым смехом вспоминали о победе своего односельчанина, силача Шемея, над приезжим иранским борцом Пулат-пехливаном¹. Иранец невысокий, но кряжистый, с бычьей шеей и резко очерченными мускулами, напоминавшими тугие узлы, действительно производил впечатление человека, отлитого из стали.

Года за три до смерти Шемея странствующий Пулат-пехливан разъезжал по сёлам Южного Дагестана в поисках заработка. У него был собственный фургон, напоминавший повозку вечно кочующего цыгана. Пехливан останавливался в каждом селении. Он демонстрировал свою силу, вызывал охотников на борьбу и брал с каждого зрителя за представление по одному шаи² или по одному шааду³ зерна.

Честно говоря, нюгдинец, никогда в жизни

¹ Пулат-пехливан – стальной богатырь.

² Шаи – пять копеек.

³ Шаад – деревянная посуда, мерка для пшеницы.

не боровшийся на ковре, никакой победы над иранским пехливаном не одержал, но он заставил его расплакаться, как обиженного ребёнка. За это нюгдинцы прозвали Пулат-пехливана «Пехливан-гирис-гирис»¹.

Пулат-пехливан, или как его прозвали Пехливан-гирис-гирис, приехал в Нюгди в тот день, когда в селе справляли шаами-весал². На улицах весело трещали жаркие праздничные костры.

Остановившись на прошлогоднем току, где уже робко пробивалась первая шелковистая травка, пехливан принялся проворно выгружать из фургона двухпудовые гири, кузнечную наковальню, два тяжёлых молота и широкий, истёртый, насквозь пропылённый ковёр с порванными краями.

Нюгдинцы, бросив костры, поспешили к току. Поджав под себя ноги, они на почтительном расстоянии, расселись вокруг «волшеб-

¹ Пехливан-гирис-гирис – Пехливан-плакса.

² Шаами-весал – светоч весны или весенний костёр. Ежегодный обрядовый праздник языческого происхождения. Таты, по всей вероятности позаимствовали этот языческий обряд в далёкие времена у иранских огнепоклонников или у их последователей. В день шаами-весал, который приходится на начало весны, зажигаются костры, вокруг которых исполняются обрядовые песни, танцы, а молодежь прыгает через костры. Люди просят огонь, чтобы он очистил их от болезней, предохранил посевы и скот, а также их самих от злых духов, от дурного глаза, от чумы и различных стихийных бедствий.

ного» ковра. Громкими оживлёнными разговорами, шутками и задорным смехом зрители открыто выражали своё любопытство и радость по поводу предстоящего зрелища.

Пехливан вышел на середину ковра в одних трусах. Он стал подбрасывать вверх двухпудовые гири и ловить их, словно это были не гири, а тряпочные мячи, набитые соломой. Показав несколько номеров с гирями, пехливан подозвал четырёх молодых здоровых нюгдинцев, а сам лёг спиной на ковёр. По его указанию двое нюгдинцев поставили на волосатую грудь пехливана наковальню, а два других нюгдинца, вооружившись тяжёлыми молотами, начали, по сигналу пехливана, с силой бить по наковальне. И наковальня при каждом ударе подпрыгивала на груди силача, словно она вздрагивала от боли. В прохладном весеннем воздухе далеко разносился перестук молотов.

Этот номер привёл нюгдинцев в неопикуемый восторг и в то же время вызвал у них острую тревогу за жизнь и здоровье приезжего пехливана. В рядах зрителей, особенно среди стариков и женщин, стали раздаваться протестующие голоса, предостерегающие «молотобойцев»:

- Хватит, отойдите!
- Имейте совесть, харамзада! ¹
- Бросьте молоты!

¹ Харамзада – нечестивец.

– Смотрите, убьёте гостя и опозорите наше село на весь свет.

Нюгдинцы облегчённо вздохнули, когда «кузнецы» перестали бить по наковальне, а пехливан, как ни в чём не бывало, встал и учтиво, но с достоинством слегка поклонился зрителям. Потом пехливан гордо подбоченился и, окинув всех высокомерным взглядом, громко сказал:

– Если кто из вас хочет померяться со мной силой, милости прошу. – Небрежно показав на ковёр, он добавил: – Вот – конь, вот – ристалище¹.

Все смущённо умолкли, а некоторые многозначительно захихикали: дескать, кому охота, чтобы этот медведь наломал бока.

Когда же иранец повторил свой вопрос, причём в его высокомерном тоне проскользнули и насмешливые нотки, неожиданно, среди общего молчания, раздался голос Шеменя:

– Я хочу!

Сказано это было решительным тоном, но пехливан, даже не удостоив взглядом Шеменя, с готовностью произнёс:

– Выходи!

– Прощу прощения, – скромно сказал Шемей, вставая с места. – Я только на минутку сбегая домой, приведу себя в порядок.

¹ “Вот – конь, вот – ристалище” – поговорка, применяемая в том смысле, что, мол, выходи на виду у всех и покажи, на что ты способен.

И Шемей побежал домой.

Нюгдинцы, хотя и знали о том, что их земляк обладает буйволиной силой, были твёрдо уверены в том, что пехливан непременно победит Шемея, а то, чего доброго, в горячке ещё и искалечит его. Ведь пехливан не только силен, но и владеет искусством борьбы. В то же время смелый вызов Шемея вызвал у них невольное уважение к своему односельчанину и гордость за него. И зрители, охваченные острым любопытством и волнением, с нетерпением ждали начала схватки.

Вскоре появился Шемей. Он был в одних кальсонах, кое-как подрезанных снизу выше колен. От него даже на расстоянии разило протухшим топлёным маслом. Не сбавляя шагу, он ступил на ковер и сразу же бросился на иранца. После первой же схватки пехливан с омерзением вырвался из цепких объятий Шемея и крикнул:

– Поди прочь, я не могу с тобой бороться! Ты вымазался вонючим маслом и когти у тебя, как у жанава¹.

– Не хочешь бороться, признавай себя побеждённым! – крикнул кто-то из толпы, и почти все сидящие поддержали его.

Шемей, ободрённый поддержкой земляков, вновь бросился на пехливана. Борьба возобновилась. Видимо, иранец испугался,

¹ Жанавар – зверь.

что, нюгдинцы не заплатят ему за выступление или сочтут его отказ от борьбы как признание им своего поражения.

Иранцу не только не удалось положить своего противника на лопатки, но он не смог даже схватить Шемея, зажать его в железные тиски: Шемей ускользал из объятий пехливана, точно угорь. Зато нюгдинец с необыкновенным проворством хватал своего противника и тут же отпускал. Не соблюдая никаких правил борьбы, он нещадно царапал голую спину, бычью шею, волосатую грудь пехливана.

Вдруг к удивлению и смущению нюгдинцев произошло неожиданное: пехливан перестал сопротивляться. Он, прекратив борьбу, усталый, потный, раздосадованный неудачей, с кровавыми полосами на всём теле от острых ногтей Шемея, сел на ковёр и горько заплакал...

И вот этот самый Шемей, победитель иранского пехливана, однажды отправился в лес заготавливать уголь. Крестьяне, возвращавшиеся с работы, нашли Шемея у дороги. Он лежал возле кучи дымящегося угля и не подавал признаков жизни. Сельчане принесли Шемея в село. Его отливали водой, тянули за бороду, кололи шилом в пятки, а он не приходил в себя. Тогда старейшины решили, что, когда Шемей спал в поле, ангел смерти, случайно проходивший мимо, забрал его душу, поэтому нужно скорее предать тело покойного земле, как это предписывает священное писание.

На следующее утро Шемя хоронили все. Нюгдинцы то ли по издавна установившемуся у них порядку, то ли потому, что там, где размещалось кладбище, подпочвенные воды были близки, а может, по той и другой причине обычно рыли для покойников неглубокие могилы в полчеренка лопаты глубиной. Сверху ямы прокладывали толстые сучья, которые накрывали ветками, сухой соломой, а затем засыпали свежей землёй. Но если хоронили женщину, то на её могилу насыпали ещё три лопаты лишней земли, будто в знак ненасытной женской алчности. А ночью, когда всё село, было охвачено глубоким сном и лишь время от времени раздавалось хриплое кукареканье петухов да недовольный лай собак, вызванный печальным завыванием шакалов, чья-то съёжившаяся фигура, во всём белом, озарённая бледным светом луны, испуганно озираясь, бежала со стороны кладбища. При виде лунатика собаки ещё больше встревожились, они подняли неистовый лай, а наиболее смелые и злые кинулись на него, норовя укусить за ноги.

Человек в белом, с трудом пробравшись через стаю окруживших его собак, свернул в пустынную глухую улицу и подошёл к тому дому, откуда утром вынесли покойника. Лунатик громко постучал в дверь.

– Кто там? – слышался беспокойный голос жены Шемя.

– Это я, Шемей, открой скорее, – ответил

человек в белом, нетерпеливо переступая с ноги на ногу.

Женщину, узнавшую голос мужа, охватил ужас. Она вообразила, что к ней стучится душа покойного.

– Вернись в свою обитель, дорогой, а мы помолимся за твою душу, – взмолилась испуганная женщина, не открывая двери.

Услышав такой ответ, человек в белом начал бить ногами в дверь, крича на всю улицу:

– Клянусь богом, если ты не откроешь дверь, я пересчитаю все твои рёбра и переломаю ноги, дочь хромой Божи!

Шемей всегда так ругал жену, когда сердился на неё. И голос и слова выдавали Шемея. Но суеверная жена, приняв мужа за оборотня и боясь, что «покойник» вот-вот ворвётся к ней, подняла вой на всё село.

Разбуженные среди ночи истошными воплями жены Шемея, его грозными выкриками и неистовым лаем взбудораженных собак, полуодетые мужчины и женщины сбежались к ним во двор. Неожиданная встреча с «покойником» сбила всех с толку, вызвала замешательство и страх. Шемей, увидев знакомые лица односельчан, перестал ломиться в дверь. Шатаясь, как пьяный, он вышел на середину двора и закатился долгим истерическим смехом человека, потерявшего рассудок.

– О, джамаат, жена меня усыпила, а потом похоронила! Почему она не пускает меня до-

мой? Боится! У неё там сидит любовник! Помогите мне войти в дом, я продрог и собаки искусили меня.

Он показал на свои ноги, где большими пятнами выступала кровь на саване.

Сельчане продолжали стоять, глядя в немом ужасе на Шемей. Никто из них не в состоянии был вымолвить слова. Всё то, что сейчас видели нюгдинцы, было для них непостижимо. Они знали, что умершие не воскресают, но твёрдо верили, что иногда дьявол может принять образ покойного и явиться в село, чтобы покалечить скот, потравить посевы, вызвать мор, смерть. Больше других боялся всего этого староста.

– Чего стоите, как столбы, бейте его, это не Шемей, а дьявол в его образе! – крикнул староста, с трудом пытаясь унять дрожь, охватившую его.

Шемей, услышав голос старосты, вздрогнул, сжался и инстинктивно попятился назад, как бы спасаясь от удара.

– Староста! – крикнул он. – Неужели ты не страшишься бога, зачем меня убивать? Клянусь богом, я Шемей, а не дьявол! Хотите прочту молитву?

В ту же минуту Шемей почувствовал тупой удар в бок. Он дико закричал, закачался, но всё же удержался на ногах. Увидев стоящего перед ним старика Шелбета с колом в руке, он взмолился:

– Шелбет, отец мой, не бей меня, ради бога! В чём я провинился?

В это время в чьей-то руке угрожающе блеснул кинжал и опустился на голову Шеменя. Он с криком ухватился руками за голову и, обливаясь кровью, стал кружиться по двору, стараясь вырваться из людского кольца. Та же неумолимая рука с кинжалом снова настигла его. От второго удара он с глухим стоном упал на бок, попытался подняться, но, обессилев от потери крови, перевернулся на спину, разметав руки.

В это время в толпу испуганных людей стремительно ворвались Рахмон и пастух Шибетей. Перебивая друг друга, они принялись громко кричать:

- Он – Шемей!
- Не трогайте его!
- Его могила раскрыта!
- Мы сами видели!

Но было слишком поздно. Шемей лежал в луже крови с рассечённой головой и глубокой раной в груди.

На следующий день Шеменя похоронили на краю кладбища, отдельно от других, на склоне высокого холма. Раби даже запретил родственникам поставить ему надгробный памятник. Могила Шеменя сравнялась с землёй, заросла терновником и колючими кустами ежевики, навсегда скрылась от глаз людских, но случай с убийством Шеменя продолжал жить в памяти сельчан, волновал воображение суеверных нюгдинцев.

И когда в этот вечер вспомнилась во всех

подробностях та ужасная ночь, раби, степенно поглаживая свою окладистую бороду ассирийского царя, глубокомысленно изрёк:

– Трудно судить о том, был ли тот человек в белом Шемей или дьявол в его образе. Если же это был Шемей, то он вернулся с того света не по божьей воле, а по наущению дьявола.

Сын покойного пастуха сидел печальный и напуганный. То, что он сам пережил сегодня, а потом услышал от взрослых, казалось ему каким-то мрачным, тяжёлым сном. И стоило лишь очнуться, разогнать этот кошмарный сон, всё станет на свое место. Тогда ничто не будет угрожать ни ему, ни его отцу, ни этим бедным людям, которых он видит перед собой.

Но как ни наивны были мысли мальчика, он с болью в душе признавал, что всё происходящее не сон, не наваждение, а горькая действительность, от которой ни ему, ни другим беднякам не уйти, не спрятаться.

Г л а в а IV

«ПИРАМИДЫ ФАРАОНА»

Пришло лето, а вместе с ним прибавилось забот и тревог у крестьян. От нестерпимого июльского зноя горели травы, осыпались созревшие хлеба. Надо было спешить с уборкой.

Теперь, когда почти вся пшеница была убрана, свободную землю вокруг селения приспособили

под тока, где сплошными рядами стояли скирды, ожидая обмолота.

На токах с утра до вечера под палящими лучами солнца кипела напряжённая работа: одни гоняли по кругу взмыленных лошадей, тянувших по снопам волокуши, другие веяли мякину, третьи сушили зерно и ссыпали его в чувалы¹. В горячем воздухе сытно пахло соломой и хлебом.

Для старосты подготовили несколько токов. Вокруг них возвышались скирды хлеба, напоминавшие по своей форме египетские пирамиды. Сельчане между собой метко называли огромные скирды Гомуила «пирамидами фараона». Они вкладывали в эти слова свою ненависть к старосте, имея в виду библейского фараона, построившего на крови и костях рабов свои пирамиды.

Много батраков, начиная от престарелого Шелбета и кончая подростком Сосуном, работало на старосту.

С раннего утра до позднего вечера тока были самым оживлённым местом в селе. И когда наступал желанный отдых после тяжёлого рабочего дня и от ближнего леса тянуло прохладой, к токам стекалось почти всё взрослое население. Детей и подростков привлекали сюда гомуиловские «пирамиды», среди которых хорошо было играть в прятки; взрослые

¹ Чувалы – мешки.

собирались здесь, чтобы скоротать время за беседой. Почти каждый вечер приходил сюда со своего тока Рахмон и развлекал людей игрой на зурне. Нюгдинцы, окружив музыканта, пели то задорные, то печально-заунывные песни. Иногда молодёжь пускалась в пляс, а нетанцующие азартно хлопали в ладоши, подзадоривая плясунов.

Взрослых сюда тянуло и другое. Старший сын Гомуила Шолум учился в городе, в гимназии. На летние каникулы он приезжал в родное село. Это был худощавый юноша лет семнадцати с твёрдым взглядом светло-карих глаз. Своим весёлым характером и общительностью он был прямой противоположностью своего отца. По вечерам Шолум рассказывал сельчанам удивительные истории.

Однажды в лунный вечер, когда на току было особенно людно, Шолум рассказал сельчанам о том, как три года назад в морозный январский день петербургские рабочие шли к царю просить хлеба, искать защиты от своих притеснителей-хозяев.

– Ну, а царь? Он, наверно, поговорил с народом, успокоил его? – слышался чей-то голос.

– Нет, друзья, царь закрылся в своём дворце, а войскам приказал стрелять в народ. Много людей погибло в тот день...

Гимназист на минуту прервал рассказ. Нюгдинцы, подавленные услышанным, как бы

застыли в скорбном молчании. Хотя никто из них не знал, где находится далёкий Петербург, в эту минуту у каждого было такое чувство, словно горе русских рабочих стало их горем.

– Не может царь стрелять в своих подданных. Кто этому поверит? – неожиданно нарушив тишину, прогнусавил холуй старосты Илогу, недоверчиво усмехаясь.

– Рабочие, ходившие к царю, тоже так думали, – с горечью в голосе произнёс Шолум. – Но в этот кровавый день они убедились, что царь не любит бедных людей. Царь – первый помещик в России, первый буржуй. А хозяин будет всегда на стороне хозяина. Вот почему царь и приказал стрелять в рабочих, когда они пришли жаловаться на своих хозяев.

– Ворон ворону глаз не выклюет, – злобно процедил сквозь зубы Рахмон, у которого на любой случай была в запасе поговорка.

– Как же такое дело сошло царю с рук? – возмутился Шелбет, нетерпеливо подёргивая худыми плечами.

– Ты что, с луны свалился? – удивился Рахмон наивности старика. – Попробуй пойти против царя, голову снимут. Ведь у него войско...

Все напряжённо молчали, ожидая, что скажет Шолум.

– Правильно, у царя большое войско, много полиции, – подтвердил гимназист. – Но это не испугало рабочих.

И Шолум продолжал рассказывать о баррикадных боях в Питере и в Москве, о выступлениях крестьян против помещиков, он рассказывал о социализме, когда не будет ни бедных, ни богатых, ни рабов, ни господ.

Всё, о чём говорил гимназист, нюгдинцам казалось похожим на сказку, в которую трудно поверить. И всё же его беседы волновали их воображение, вызывали у них смутные догадки, какие-то новые для них чувства, расширяли их понятия о жизни, ограниченной для них этим небольшим селением, затерянным в глуши лесов. Они готовы были слушать Шолума без конца, забывая об отдыхе.

Для нюгдинцев, батрачивших у старосты, рабочий день начинался задолго до восхода солнца, когда в воздухе ещё чувствовалась ночная прохлада, а земля была мокрой от предрачевитной росы. Каждый занимался своим делом. Одни принялись развязывать снопы и раскидывать их по токам, другие запрягли лошадей в волокуши и начали гонять их по кругу. Некоторые работники приступили к очистке зерна, а часть людей провеивала мякину.

С восходом солнца на ток явился староста. Сегодня он был не в духе. Его хмурое лицо предвещало грозу. Остановившись возле шалаша, в тени которого обычно отдыхали батраки во время коротких перерывов, староста рассеянно смотрел, как, фыркая и мотая головами, кружились на току взмыленные лошади,

таща за собой тяжёлые волокуши, с шуршанием скользившие по сухим колосьям.

Сегодня старосту ничто не радовало: ни бунты обмолоченной пшеницы, ни усердный труд людей. Ему хотелось на ком-нибудь сорвать злобу. Но придраться было не к чему, люди работали, как говорится, не покладая рук. Случайно взгляд старосты остановился на маленьком батраке Сосуна, который, зажав в губах папироску, подметал веником плотно утрамбованную землю вокруг одного из бунтов.

– Поди-ка сюда! – сердито крикнул Гомуил Сосуна.

Мальчик подошёл. Он из почтительности к старосте спрятал папироску в кулаке.

– Это что у тебя в руке? – спросил староста, окидывая ненавидящим взглядом худую фигурку мальчика, облепленную соломой.

Не дожидаясь ответа, Гомуил несколько раз с силой ударил Сосуна по лицу. Из разбитого носа хлынула кровь. Сосун испуганно вскрикнул и упал. Вид крови ещё больше взбесил старосту. Дав волю своей ярости, он начал бить мальчика ногами, не обращая внимания на его отчаянные вопли.

– Ты что, поджечь меня хочешь, гадёныш, разорить! Вот тебе, вот! – орал разгневанный староста.

Несколько батраков, бросив работу, подбежало к месту происшествия. Откуда-то взялся и Рахмон. Он кинулся к старосте и, толкнув его в грудь, крикнул:

– Не смей бить мальчика!

Гомуил с удивлением и злобой уставился на неожиданно появившегося защитника.

– А ты не вмешивайся не в своё дело, подлец! – заорал он на Рахмона.

На старосту со всех сторон посыпались упреки.

– Если мальчишка сирота, значит, с ним можно делать, что захочешь?

– С жиру бесится наш староста!

– Нашёл с кем драться!

– И на него найдём управу!

Гомуил на минуту опешил. Не было случая, чтобы батраки позволяли себе так разговаривать с ним.

– Бу-унт! – вдруг закричал он, багровея, но, увидев подходившего сына, набросился на него:

– Это ты во всём виноват! Никогда бы эти люди не осмелились слова при мне сказать, если бы не твои бунтовские речи!

Шолум, не обращая внимания на отца, поднял горько плачущего Сосуна, вытер платком ему лицо и, сказав несколько утешительных слов, отослал его на работу. Молча приступили к работе и остальные батраки. Но Гомуил, всё больше раздражаясь, продолжал кричать на Шолума.

– Не кричи, отец. Если ты хочешь что-нибудь мне сказать, говори спокойно, – произнёс Шолум, когда они остались вдвоём.

– Ты думаешь, я не знаю, о чём ты вчера болтал здесь этим голодранцам, – проговорил Гомуил, бросив презрительный взгляд в сторону батраков. – Мне всё известно!

Гомуил трясущимися руками вынул из кармана кальян и закурил. Он отошёл к шалашу и грузно опустился на ворох соломы. Попыхивая кальяном, староста не спускал недовольного, осуждающего взгляда с сына.

– Подумать только, – заговорил староста, словно рассуждая сам с собой. – Человек казённый, учится в гимназии вместе с сыновьями благородных отцов, сын старосты, а якшается с какими-то голоштанниками, будь они трижды прокляты! И чего он нашёл хорошего в этих грязных людях. Разве для того я его учил, тра-тил деньги?

Гомуил горестно покачал головой. Он с минуту помолчал, устало опустив глаза, потом зло, испытующе посмотрел на сына.

– Ты мне скажи, – обратился он к сыну, который стоял перед ним, заложив руки за спину, и со скучающим, безразличным видом слушал ворчливую брань отца. – Скажи мне, кто такой этот злодей, которого зовут непонятным именем Социализм? Ведь о нём ты вчера вечером рассказывал нашим людям? Кто он?

Русский, мусульманин, еврей?

– А на что он тебе? – насторожился Шолум.

– Не твоё дело! – снова вспыхнул Гомуил.

– Когда отец спрашивает, отвечай. Ты что, знаешь этого человека?

– Может быть, и знаю, – уклончиво ответил юноша.

Староста укоризненно покачал головой.

– И ты, сын старосты, вместо того чтобы сообщить о нём полиции, повторяешь слова этого преступника, да ещё перед кем? Перед своими же работниками!

Услышав от Шолума, что опасный государственный преступник по имени Социализм уже арестован, староста несколько успокоился.

– Вот это хорошо! – одобрительно воскликнул он. – Теперь ему не удастся распространяться о том, чтобы отобрать всё добро у богатых и раздать бедным.

Понемногу хорошее настроение возвращалось к старосте. Он совсем повеселел, когда к нему подбежал его десятилетний сынишка Эсеф и обнял отца.

Гомуил ласково провёл рукой по курносому лицу мальчика.

– Тебя, сынок, я не отдам ни в какие гимназии. Лучше куплю тебе быстрого иноходца и хорошую плеть. Будешь ты разъезжать на коне и охранять отцовское добро. А гимназия, она к добру не приведёт...

Мальчик вдруг вырвался из объятий отца, забежал ему за спину и, вскочив верхом на Гомуила, крикнул:

– Поехали, ча!

У Гомуила от неожиданности выпал изо рта кальян, но он не рассердился на проказы младшего сына, а, схватив его маленькую ручонку, с чувством поцеловал её.

...День угасал, на высоком тёмно-синем небе обозначился бледный серп полумесяца. Становилось прохладнее. Замирали дневные звуки. Из ближних лесов, расположенных неподалёку от села, слышались тоскливые завывания шакалов. В ответ во всех концах селения недовольно залаяли собаки.

Уставшие после утомительной работы нюгдинцы в одиночку и группами сходились на ток старосты. Они по обыкновению располагались у одного из стогов, макушка которого, как пожелтевшая вершина горы, отчётливо вырисовывалась на фоне синего вечернего неба. Набив кальяны табаком, свернув сигарки, сельчане наслаждались коротким вечерним отдыхом.

Среди собравшихся на току на этот раз не было Рахмона. Его отсутствие больше всех чувствовал Сосун. У мальчика ни со стороны отца, ни со стороны матери не было близких родственников, кто бы мог поддержать и утешить его в трудную минуту. Затравленные подневольной жизнью, отупевшие от изнурительного труда многие нюгдинцы не видели страданий других или относились к ним равнодушно. Рахмон оказался единственным человеком, который не побоялся заступиться за сироту, по-отечески относился к нему.

После сегодняшнего случая на току симпатии и привязанность Сосуна ещё больше возросли к Рахмону. И сейчас он испытывал неодолимую потребность быть рядом с ним. Не найдя Рахмона на току, Сосун бросился бежать на окраину села, где обычно Рахмон обмолачивал свой хлеб.

... Посредине небольшого тока, около кучки пшеницы, молча сидел Рахмон, обняв колени. Он сидел, низко опустив голову, и не то дремал, не то думал о своей горькой судьбе. Рахмон даже не заметил подошедшего к нему Сосуна.

– Добрый вечер, дядя Рахмон, – робко произнёс мальчик.

– А, это ты, – словно очнувшись от сна, проговорил Рахмон. – Садись.

Мальчик присел, поджав под себя босые, покрытые пылью и грязью ноги, и молча уставился на своего соседа. Сосун понял, что дядя Рахмон чем-то расстроен и встревожен.

– Что-нибудь случилось, дядя Рахмон? – волнуясь, спросил мальчик.

Рахмон молча кивнул головой, потом заговорил тихо, с глубокой печалью в голосе:

– Вот посмотри, – указал он на кучку пшеницы, – это всё, что мне осталось после обмола. Урожай в этом году был плохой, а всего, что собрал, едва хватило, чтобы уплатить долг старосте за аренду земли и за то, что пахал его буйволами. Теперь он мне пригрозил, что если через два дня не верну прошлогодний долг, то

он отберёт у меня виноградник. А у меня, кроме виноградника, ничего больше нет. Как тогда жить? – с горечью заключил он свой рассказ.

Слушал Сосун соседа, и ему с трудом верилось, что перед ним сидит всегда весёлый Рахмон. Ни выражение лица, ни голос, ни его поза, – ничто не напоминало сейчас в нём того насмешливого, и жизнерадостного человека, каким его знал Сосун.

На небе тускло светил рогатый месяц, равнодушно глядели на землю далёкие, холодные звёзды. Им не было никакого дела до людского горя.

– А ведь я мог бы хоть завтра рассчитаться с Гомуилом, – рассуждая как бы с самим собой, проговорил Рахмон. – Но как говорится в пословице: «Несчастливого волк даже с горба верблюда достанет».

И Рахмон умолк, погрузившись в свои не-весёлые думы. Чем жить, как кормить семью? Думай, Рахмон, думай! Была у тебя одна единственная коровёнка, кормилица всей семьи, и той не стало.

Боясь, что староста отнимет за долги виноградник, Рахмон, после мучительных колебаний, решил зарезать корову, мясо продать сельчанам и уплатить долг неумолимому Гомуилу. Но вышло не так, как он думал.

Когда корову выводили со двора, жена и дети бросились вслед за ней и с плачем умоляли отца не забивать любимицу всей семьи, а животное, словно предчувствуя свою гибель, ли-

зало шершавым языком тянувшиеся к корове детские ручонки.

Возле гумна корове связали ноги и повалили её на бок. Подошёл раби Нахум. Он полоснул по её горлу большим острым блестящим, как зеркало, ножом резника-профессионала. Из разрезанного горла фонтаном хлынула кровь. Когда корову освежевали, раби, присев на корточки, стал внимательно рассматривать её внутренности, долго щупал ещё не успевшие остыть лёгкие. Рахмон с волнением следил за каждым движением раби. Наконец тот поднялся, рассеянно глядя на свои запачканные кровью руки, и мрачно произнёс:

– Харам!¹

Роковое слово, произнесённое раввином, точно удар дубины ошеломило Рахмона. В груди будто что-то оборвалось, ноги подкосились, стало трудно дышать.

– Раби! – взмолился Рахмон. – Какой харам? Смотри лучше, корова здоровая, тучная... Не губи меня, заклинаю тебя богом!

Но раби был неумолим.

– Харам, – решительно повторил он. – В лёгких коровы есть дефекты. Я не могу разрешить есть такое мясо верующим, это противоречит священному писанию.

¹ Харам – согласно иудейской религии, таты могли есть мясоживотного, зарезанного только раввином и разрешенное им к употреблению. Словом «харам» накладывался запрет на мясо.

Не обращая внимания на отчаянную мольбу и просьбы Рахмона, раби удалился.

Весь остаток дня Рахмон метался по селу в поисках телеги и лошадей, чтобы отвезти мясо на вокзал и продать там русским железнодорожникам или распродать его в соседнем лезгинском селении. Но все лошади были заняты на полевых работах. К вечеру, когда удалось найти и подводу, и лошадей, мясо везти было уже поздно, от жары оно стало портиться.

– Пошли вы к чёрту, проклятые! – крикнул вдруг Рахмон, обернувшись назад.

Сосун с удивлением посмотрел на соседа, а потом в ту сторону, куда оглянулся Рахмон. Мальчик только сейчас увидел, как шагах в десяти от тока стоя голодных псов, сердито урча друг на друга, рвёт коровью тушу.

– Не могу спокойно смотреть, будто они моё тело терзают, – со слезами в голосе проговорил Рахмон. – И в доме все, как в трауре, плачут, словно по покойнику.

Сосун не находил слов, чтобы подбодрить сломленного горем Рахмона. Он молчал, подавленный несчастьем близкого ему человека.

– Ну, ладно, чему быть, того не миновать, – с покорностью проговорил Рахмон, вздыхая.
– Вставай, пойдём домой, тебя, наверно, сестрёнка заждалась.

А насчёт жизни что-нибудь придумаем.

ТАЙНА РЕКИ ГЮЛЬГЕРЫЧАЙ

Старик Шелбет жил одиноко. Не было у него ни земли, ни хозяйства. И дом старика, ветхий, покосившийся от времени, сиротливо стоял на отшибе в стороне от других домов, словно стыдился своего убожества.

С ранней весны до поздней осени Шелбет работал на чужих полях, вечерами ловил рыбу и продавал её по дешёвке односельчанам или солил на зиму. Шелбет славился как лучший рыбак и хороший пловец. Никто лучше его не знал, где нужно поставить сети, чтобы больше взять рыбы, и никто, кроме него, не хранил в памяти столько легенд и сказок, передаваемых из поколения в поколение.

Своё одиночество старик Шелбет скрашивал тем, что, собираясь рыбачить, обязательно брал с собой кого-нибудь из односельчан.

– Тяжело одному с неводом управляться, – говорил он при этом. – Годы не те, стар становлюсь.

И никто никогда не отказывал старику. Да и он в долгу не оставался: всегда щедро делился богатым уловом. Сегодня Шелбет пригласил на рыбалку Сосуна.

– Наверное, ты и вкус рыбы забыл, а мяса и подавно, – сказал старик Сосуну, предлагая ему пойти вечером рыбачить.

И вот они сидят у костра на берегу бурливой горной реки. Сосун оживлённо рассказывает все сельские новости, а старик слушает его, попыхивая трубкой.

– Интересный разговор был вчера на току, дядя Шелбет, – всё больше оживляясь, говорил Сосун, довольный тем, что старик охотно его слушает.

– О чём был разговор? Ну-ка, расскажи! – просит старик, продолжая сосать свою трубку.

– Да вот сын старосты говорил о луне, о звёздах, – и, бросив быстрый взгляд на мерцавшие звёзды, Сосун добавил, – а ещё об обезьяне.

Хотя старик Шелбет сам присутствовал при этой беседе, но притворился, будто ничего не знает.

– Ну, ну... Что же говорил Шолум? – с деланным нетерпением переспросил Шелбет.

Мальчик усмехнулся и покачал головой.

– Он говорил, будто звёзды – это вовсе не звёзды, а... – Сосун запнулся и досадливо поморщился. Он усердно тёр рукой лоб, стараясь что-то вспомнить. – Нет, не могу вспомнить, как он сказал. В общем, он говорил, что звёзды и луна вроде такие же, как наша земля, а человек произошёл не от Адама и Евы, а от обезьяны.

Мальчик с любопытством посмотрел на старика, словно хотел прочесть на его лице, какое впечатление произвело на него это сообще-

ние. Не дождавшись ответа, Сосун продолжал:

– А я никогда не видел обезьяны. Говорят, что у неё длинный хвост, ходит она на четырёх лапах и вся волосатая, как собака.

Шелбет вынул изо рта трубку и стал выбивать из неё пепел, слегка постукивая о загнутый кверху носок своего чарыка. Посмотрев на раздумянившееся от костра лицо мальчика, он задумчиво проговорил:

– Шолум умный человек, большой учёный!
– Подбросив хворосту в костёр и подождав, когда он разгорится, старик продолжал свою мысль: – Любит он нас, бедных. Сразу видно, много хорошего узнал он у русских друзей, разным наукам обучился.

Только, видать, и с неумными людьми он встречался, немало глупостей от них перенял. Посуди сам: разве могут эти махонькие звёзды, не больше ночного светлячка, быть такими, как наша земля? Да они давно бы попадали на землю и раздавили бы нас. Вот ты говоришь, что не видел обезьяны. А я видел и никогда не поверю, чтобы обезьяна могла породить человека, вроде меня или тебя. Есть такая пословица: «Сумасшедший сказал, лежебока поверил». Какой-нибудь русский выдумал эту небылицу, а Шолум повторяет.

– Да, чуть не забыл вам сказать, дядя Шелбет, – громко произнёс мальчик, блестя от возбуждения глазами. – Раби Нахум так обозлился на гимназиста, что стал кричать

на него: скажи, говорит, безбожник, ты произошёл от обезьяны со стороны отца или со стороны бабушки? Шолума, вы знаете, все уважают, а после слов раби засмеялись...

– А что ему ответил Шолум? – спросил Шелбет, пряча хитрую улыбку в седые усы. Он в душе тоже не любил раби Нахума.

– А Шолум ему и говорит... – Сосун прищурил глаза, глядя на огонь, и медленно, как бы подбирая слова, проговорил: – лучше быть обезьяной и ползать на четвереньках, чем быть раби...

Увидев, что Шелбет недоверчиво улыбается, Сосун с обидой в голосе воскликнул:

– Клянусь богом, он так и сказал!

– Что же было потом? – спросил Шелбет, чтобы успокоить мальчика.

– Потом все смеялись над раби Нахумом, после того, как Шолум ему сказал: обезьяна – существо безобидное, живёт и никого не обманывает, а ты, говорит, обманщик, да ещё за свой обман с каждого харж ¹ берёшь, даже не смотришь, сыт он или голоден. Скажи после этого, кто лучше – ты или обезьяна?

Хотя старик был сам свидетелем словесной перепалки между гимназистом и священнослужителем, но после рассказа мальчика вновь представил себе эту сцену и с удовольствием ещё раз посмеялся. Глядя на старика, смеялся и мальчик.

¹ Харж – подать, подачка.

– Знаете, дядя Шелбет, я одного не могу понять, – произнёс Сосун, вытирая кулаком повлажневшие от смеха глаза. – Как раби Нахум осмелился при всём джамаате оскорбить старосту, отца Шолума? Ведь они с Гомуилом старые друзья.

Сосун заметил, как после его вопроса исчезла улыбка с лица старика. Шелбет сразу стал строгим и задумчивым. После короткого молчания старик тихо, как бы про себя, сказал:

– Гомуил не отец Шолуму.

– А разве он биж ¹? – удивлённо вскинул Сосун широкие брови.

– Нет, нет, – поспешил ответить старик. Он опасливо огляделся по сторонам, как будто боялся, чтобы кто-нибудь его не подслушал, и дрожащим от волнения голосом проговорил: – Гомуил убил его отца, когда Шолум был ещё в утробе матери. А труп Юсуфа – отца Шолума – я нашёл в реке, на этом самом месте, – и старик ткнул пальцем в сторону реки, которая в нескольких шагах от них с шумом несла свои воды.

Шелбет слегка дрожащими, скрюченными пальцами опять набил свою потухшую трубку. Выхватив из костра раскалённый уголёк, он ловко подбросил его на ладони, положил в трубку и раскурил её. Затем, посмотрев на притихшего мальчика, который со смутным страхом и любопытством глядел на старика,

¹ Биж – незаконнорожденный.

снова заговорил своим глуховатым голосом:

– Вот как это было. Жил в нашем селе старый-престарый мельник. Звали его Худодот. Он до того состарился, что седые лохматые брови уже закрывали его поблекшие глаза, а худая спина согнулась дугой. Все нюгдинцы и даже лезгины и азербайджанцы, приезжавшие на мельницу из соседних сёл молотить зерно, называли его почтительно бобо¹ Худодот. У старого мельника был единственный сын, весельчак и красавец Юсуф. В то время в нашем селе самой красивой девушкой считалась Гюзюргул, дочь старой вдовы Мозол. Много парней сваталось к этой красавице, набивался в женихи и Гомуил. А он уже двенадцать лет как был женат. Первую жену он взял из Дербента, из богатой семьи, но она была бездетна. Гомуил несколько раз посылал к Гюзюргул сватов с богатыми подарками, угрожал, что похитит её, и даже грозился убить, если она не выйдет за него замуж. Но ни подарки, ни угрозы не действовали на девушку. Она полюбила сына мельника и вскоре вышла за него замуж.

Гомуил затаил злобу на Гюзюргул и её жениха. А после свадьбы Гомуил сделал вид, что он смирился с замужеством Гюзюргул, и даже вошёл в доверие к Юсуфу, подружился с ним. Он часто бывал у Юсуфа в гостях, хвалил его на людях. И никому в голову не пришло бы, что

¹ Бобо – дед.

этот человек мог стать убийцей своего друга.

Шелбет умолк. Он машинально подбросил в тлеющий костёр сухих сучьев, и когда они с треском разгорелись, а оранжевые языки пламени вновь ярко осветили лица собеседников, продолжил свою печальную повесть.

– Как-то под вечер сижу я на этом самом месте у костра, варю уху. А кругом тишина. Только слышно, как река гудит да соловьиные трели из леса доносятся. Сижу я, а в голову разные мысли лезут. Вспомнил о прошлом, задумался о своей горемычной жизни. Не заметил, как задремал. Вдруг слышу сквозь сон, как будто кто-то меня зовёт «Шелбет холу, а Шелбет холу»¹. Открываю глаза, а передо мной стоит лезгин Гасан. Он одно время жил в нашем селе, сторожил виноградники Гомуила, а по субботам разжигал огонь в очагах у наших сельчан и за это получал хлеб, сыр. Так вот, стоит Гасан бледный, слова выговорить не может.

«Что случилось, Гасан, на тебе лица нет?» – спрашиваю его.

«Убили, вот только что на моих глазах убили», – отвечает он, а сам трясётся, как в лихорадке.

Как услышал я это, сон мой словно ветром сдуло.

“Кого убили? – спрашиваю. – Кто?”

“Недалеко отсюда, с версту будет... – задыхаясь от волнения, продолжал Гасан. – Косил

¹ Холу – дядя.

я траву. Вдруг слышу выстрел и чей-то крик. Коса выпала из моих рук. Выбегаю на край полянки, смотрю: Гомуил и Илогу, оба с ружьями и кинжалами, поднимают с земли убитого ими Юсуфа. Я поскорее спрятался за дерево, чтобы они меня не заметили. Убийцы перекинули труп через седло, сели на лошадей и поскакали куда-то вдоль берега. А за полчаса до убийства я видел, как Юсуф шёл к реке, чтобы отвести воду для мельницы”.

– Вот что рассказал мне Гасан. Мы решили никому об этом не говорить. Свидетелей, кроме Гасана, не было, а Гомуилу, имевшему много друзей среди больших начальников, ничего не стоило свалить всю вину на Гасана. Так просидели мы с ним до позднего вечера, вспоминали покойного и на чём свет стоит ругали ненавистного Гомуила. Когда ушёл Гасан, я разделся и полез в воду проверить, есть ли в неводе рыба. Стою в воде, перебираю невод. Вдруг что-то большое коснулось моих ног. Сперва я подумал, что это телёнок, которого унесло течением. Ощупываю – человек. Еле живой от страха выволакиваю утопленника на берег к костру. Смотрю – это убитый Юсуф. Я и сейчас отчётливо вижу его, лежащего здесь, у шалаша. Глаза у покойного были открыты. Они смотрели на меня в упор, казалось, покойный хотел что-то сказать, но не мог. Я снял с него пояс с кинжалом, спрятал в шалаше под соломой и побежал в село сообщить отцу и жене о происшествии.

О том, что рассказал мне лезгин Гасан, я промолчал. А спустя два месяца Гомуил уговорами и угрозами заставил Гюзюргул выйти за него замуж. Через полгода после этой печальной свадьбы родился Шолум – первый и последний сын покойного Юсуфа.

Шелбет, тяжело вздохнув, прервал свой рассказ. Раскрыв свой объёмистый кисет, он набил трубку табаком, потом, держа чубук во рту, подался вперёд и прикурил от костра.

– А Шолум не знает, что Гомуил убийца его отца? – тихо спросил Сосун, потрясенный услышанным.

Шелбет, не вынимая трубки изо рта, молча кивнул головой, затем усталым голосом произнёс:

– Знает... В прошлом году, когда он приезжал на каникулы, я встретился с Гасаном и договорился с ним обо всём рассказать Шолуму. Было бы тяжким грехом держать в тайне от сына причину гибели его отца.

И старик подробно рассказал, как они это сделали.

Шелбет в летнее время работал на токах Гомуила. Однажды вечером после работы старый батрак догнал шедшего домой Шолума. Поравнявшись с ним, Шелбет тихо сказал ему:

– Шолум, зайдём ко мне, я тебе расскажу об одном очень важном для тебя деле.

Юноша сначала не придавал особого значения

ни словам старика, ни тому, с каким волнением они были сказаны. Всё же он пошел за ним. Когда они вошли в убогую хижину Шелбета, освещенную чадающей коптилкой, там их уже ждал худощавый высокий лезгин с пушистыми сидящими усами на бритом лице. Гасан крепко, дружески пожал руку Шолуму, расспросил его о здоровье, о том, хорошо ли идёт ученье...

Шелбет усадил гостей рядом. Затем он подошёл к деревянному сундуку, стоящему в дальнем углу комнаты. Открыв сундук, Шелбет вынул из него пояс, длинный кинжал, молча подошёл к гостям и бережно положил кинжал и пояс перед гимназистом.

Что всё это значит, дядя Шелбет? – с недоумением спросил Шолум, показывая глазами на кинжал с поясом. – Не собираешься ли ты подарить мне этот кинжал в честь того, что я зашёл к тебе в гости?

– Я ничего не собираюсь тебе дарить, – угрюмо произнёс хозяин дома, положив морщинистую руку на ножны кинжала. – Он и так принадлежит тебе.

– Мне? – невольно засмеялся юноша, пожимая плечами.

– Да, сынок, Шелбет холу говорит правду, – заговорил молчавший до сих пор Гасан. – Этот кинжал и пояс принадлежали твоему отцу, покажи их матери, и она подтвердит наши слова.

Шолум, который был до этой минуты на-

строен добродушно и в душе посмеивался над «причудами» стариков, заволновался.

– А как же эти вещи попали к вам? – спросил он, глядя то на Гасана, то на Шелбета.

Сначала Гасан, а потом Шелбет рассказали юноше обо всём, что уже известно читателю.

Пока они рассказывали, лицо юноши то вспыхивало от гнева, то бледнело. Перед его мысленным взором неотступно маячила зловеющая фигура Гомуила.

Несколько минут он сидел молча, неподвижно, точно поражённый громом, не в силах произнести ни слова. Рука Шолума, как в тяжёлом сне, потянулась к кинжалу. Одной рукой он судорожно сжал ножны, а другой, взявшись за рукоятку, наполовину обнажил лезвие, с яростью нанося воображаемые удары убийце своего отца. Потом он, словно очнувшись от кошмара, с силой зажал лезвие в ножны и после недолгого колебания вернул кинжал Шелбету:

– Храните его пока у себя, – дрожащим от волнения голосом проговорил он. – И пусть эта тайна останется между нами.

Вернув кинжал, он тяжело встал и медленно вышел.

Рассказав эту горестную историю, Шелбет опустил голову и задумался, находясь во власти воспоминаний. Потом, взглянув на своего юного собеседника, застывшего в немом изумлении, глухо проговорил:

– Пора проверить невод.

Раздевшись, они вошли в бурный поток холодной воды. Держа друг друга за руки, чтобы их не сбило с ног, рыбаки подошли к неводу. Отцепив невод от березовых кольев, забитых в середине реки, они с трудом вытащили сеть на берег и вытряхнули её содержимое возле костра. Улов получился обильный. Рыба, выброшенная на берег, усеянный мелкой галькой и булыжником, отчаянно билась, а чешуя в лунном сиянии отливала серебром. Сосун бегал по берегу, хватал то одну, то другую рыбу и глушил её булыжником. Потом собрал всю добычу, разложил её в ряд и принялся считать.

– Ой, как много! – радостно воскликнул мальчик, тяжело дыша после «сражения» с рыбами. – Пятнадцать кутумов и два лосося!

Шелбет сушился у костра, с довольной улыбкой наблюдая за своим помощником.

– Не пожалеешь, что пошёл со мной. Половина улова твоя, – щедро распорядился Шелбет. – А теперь немного вздремнём. Рано утром нас ждут «пирамиды фараона».

Усталые и озябшие, они улеглись на груди полувысохших веток, покрытых пахучим сеном, около костра, от которого исходило благодатное тепло.

Перед рассветом чуткий сон старика нарушил монотонный цокот подков. Кто-то неподалёку скакал на лошади. Проснулся и Сосун. Неожиданно из темноты вынырнули два вооружённых всадника. Они с трудом осадили раз-

горяченных коней около тлеющего костра. Это были староста Гомуил и его подручный Илогу.

Не поздоровавшись с рыбаками, Гомуил строго спросил:

– Рахмон в этих местах не показывался?

– Нет, а что случилось? – спросил Шелбет, чуя недоброе.

– Этот собачий сын, – злобно ответил за Гомуила Илогу, – нынче ночью поджёг две скирды старосты и сбежал, как трусливый заяц.

– Я его всё равно найду, – зарычал Гомуил. – Под землёй найду, не спрячется. На виселицу его вздёрну, как ворону на шест, или в Сибирь загоню, будет меня помнить!

Гомуил в сердцах стегнул лошадь плетью, и поскакал дальше, сопровождаемый своим верным посыльным. Вскоре всадники скрылись за лесом.

Часть II

Глава I

СОПЕРНИЦЫ

По утрам девушки с кувшинами на плече отправлялись к источнику за водой. Родник находился на северной окраине села, и девушкам приходилось ходить через майдан, где обычно собирались мужчины. С тихим журчанием родник струился из-под высокого обрыва, на котором росли живописные карликовые деревья.

Нередко мужчины, особенно старики, сидевшие на майдане, подзывали девушек, возвращавшихся с родника, и просили напиться воды. Дать воду просящему, так же как предоставить кров и постель гостю, считалось у нугдинцев святым делом. А пока кувшин с холодной ключевой водой переходил из рук в руки и люди утоляли жажду, девушка, потупив глаза, скромно стояла в стороне.

Вот на дороге от родника показалась девушка лет шестнадцати с мокрым блестящим кувшином за спиной. Парни невольно прервали оживлённый разговор, обратив полные нежности и волнения взоры на приближающуюся девушку. Казалось, настроение молодых передалось и старикам. Они тоже умолкли и

с тёплыми улыбками на просветлённых лицах ласково смотрели на подходившую к ним девушку.

– Я сейчас позову её и попрошу напиться, – как будто радуясь такому случаю, проговорил крестьянин Севи, которого в селе прозвали Цыганом за его чёрную, как смоль, курчавую бороду и очень смуглое лицо.

– Да ты только что пил, Севи, – усмехнулся сидящий рядом с ним на завалинке седобородый мужчина с бескровным лицом. Он, несмотря на жаркое июньское солнце, вышел на улицу в шубе: старик уже много лет болел малярией.

– А ты разве не знаешь, Дон, – когда встречаешь чистый родник, всегда хочется напиться, – проговорил Цыган, лукаво подмигнув. – Когда я вижу эту красавицу, меня начинает одолевать жажда.

Девушка, на которую обратили внимание сидевшие на майдане, шла, слегка согнувшись под тяжестью своей ноши. У неё была гибкая стройная фигура. Под простым, из выкрашенной бязи, платьем резко обозначалась высокая упругая грудь. Черты лица тонкие, чуть тронутые нежным загаром. Из-под изогнутых бровей пытливо смотрели большие, чёрные, как влажные черносливы, глаза с длинными густыми ресницами. На правой щеке красовалась родинка. Две тугие косы змеями спускались до поясницы.

Почувствовав взгляды мужчин, девушка потупила глаза и ускорила шаги, чтобы быстрее пройти майдан, но Севи окликнул её. Она подошла к Цыгану и подала ему кувшин, а сама стала терпеливо ждать, когда тот напьётся. Отпив несколько глотков, Цыган поставил кувшин перед собой, вытер изорванным рукавом своего чохо мокрые усы и озорным взглядом посмотрел на старика.

– Ну, а ты будешь пить? – спросил он Дона.

Старик тёплым взглядом скользнул по стройной фигуре девушки, встал, сбросив с плеч шубу, и, с необычным для его возраста шутливым задором, сказал:

– Ты прав, Севи, нельзя не напиться из кувшина такой красивой девушки...

Внезапная «жажда» охватила и молодёжь. Не стесняясь присутствия аксакалов, парни по очереди подходили к кувшину и, словно желая показать свою силу и ловкость, одним взмахом поднимали его, а воду пили медленно, будто глотали мёд, не спуская пытливого взгляда с девушки.

Кувшин был возвращён владелице, когда в нём не осталось ни капли воды, и девушке пришлось возвратиться к роднику.

– Эх, был бы жив пастух Шебетей, посмотрел бы, какая у него дочь растёт, – покачал головой старик Дон, накидывая на плечи шубу. Погрустневшими глазами смотрел он вслед

удаляющейся девушке. – Пери... – задумчиво проговорил он. – И имя-то у неё чудесное, под стать ей.

– Не зря сын старосты Эсеф сохнет по ней, – не то с одобрением, не то с осуждением проговорил Цыган.

– Да, быстро летит время, – тихо произнёс старик, как бы рассуждая сам с собой. – Вот уже десять лет прошло, как мы похоронили бедного Шебетея, а кажется, что это было недавно. Летит время. Не успеешь наглядеться на свет божий, а уже пора и в могилу.

Когда Пери вернулась домой, Сосун сидел на земляном полу веранды и старательно прошивал нитками новые чарыки. Одет он был в старую черкеску из тёмно-рыжей домотканой шерсти. По тому, как при каждом его резком движении готовы были лопнуть швы на черкеске, видно было, что его большой плотной фигуре тесно в узкой одежде. В этом широкоплечем, мускулистом молодом человеке никто бы не узнал сейчас того тщедушного, бледнолицего мальчика, каким он был десять лет тому назад, когда, держась за ивовый прут, водил отца «гудилом» по селу. Его широкое, чуть скуластое лицо, густые, сходящиеся на переносице брови придавали ему некоторую суровость. Под кончиком длинного, слегка изогнутого носа чернели маленькие усики. Но глаза юноши не изменились. Они остались такими же большими,

немного грустными. Увидев сестру, он шлёпнул об пол готовый чарык и, насупив брови, ворчливо сказал:

– Проклятый староста! Работаешь на него как вол, а он жалеет дать хорошей кожи на чарыки. Разве это кожа? Не толще бумаги. Такие чарыки и две недели не проносишь... Ты где запропастилась? – вскинул он недовольный взгляд на сестру, когда та, поставив кувшин с водой в угол веранды, подошла к брату и остановилась перед ним.

– Запропастилась! За водой ходила. Разве я виновата, если дяденьки на майдане попросили напиться и выпили всю воду. Пришлось второй раз идти к источнику, – с обидой в голосе ответила Пери.

– Ты у меня смотри! – неуверенно пригрозил брат. – Удивительно! Когда ты идёшь за водой, их всех чертей, словно раненых оленей, начинает мучить смертельная жажда... К источнику можно и стороной пройти.

В отношениях с сестрой Сосун был очень сдержан, иногда даже строг, как и подобает мужчине. По обычаю нюгдинцев мужчина не должен открыто выражать нежность к своей жене, давать поблажку сестре, ласкать или брать на руки своего ребёнка при родителях и старших. Свои чувства он должен скрывать под внешней показной суровостью.

– Дорогой мой! Я же знаю, что ты на меня

не сердисься! – воскликнула Пери, стараясь загладить свою «вину». Она звонко рассмеялась, опустилась перед братом на корточки, порывисто обняла его и поцеловала в лоб.

Сердце Сосуна потеплело от ласкового поцелуя сестры. Плотно сжатые губы расплылись в улыбке, но, не поднимая головы, он с притворным недовольством прогудел:

– Ну, ладно, не мешай мне работать. Иди займись своим делом.

Но она не отошла. Склонив голову на бок, Пери задумчиво смотрела на брата.

– Ну, что тебе? – спросил Сосун сестру, догадываясь, что она хочет что-то попросить.

– Девушки собираются в саду поиграть в мяч... Разреши и мне пойти? – Пери умоляюще посмотрела на брата.

Юноша молча взял с пола другой кусок кожи, не спеша расправил его на колене и принялся бритвой соскабливать с него шерсть.

– Ладно, иди, – с напускной суровостью произнёс Сосун. – Только... – Он исподлобья посмотрел на сестру и после некоторого колебания сказал: – Хорошо, иди, только долго не задерживайся.

Обрадованная Пери вбежала в комнату, взяла из ниши платок с ярко-красными розами на тёмном фоне, аккуратно повязала им голову, надела башмаки на деревянной подошве и, взглянув мельком в осколок старого зеркала, выпорхнула во двор.

Сосун отложил шкурку и долго смотрел вслед удаляющейся сестре. И даже когда девушка, спустившись по узенькой тропинке в овраг, за которым виднелись сады, совсем исчезла из виду, он продолжал смотреть в ту сторону с задумчивым и озабоченным видом. За последнее время Сосун стал жить немного лучше. Прошли те тяжелые, горестные дни сиротства, когда в доме не было даже куска хлеба. А если удавалось иногда поесть досыта, то для него с сестрой это было просто праздником.

– Среди других батраков, работавших у Гомуила, Сосун, пожалуй, был самым прилежным. Расчётливый староста ценил примерного батрака и даже дал Сосуну корову; сумел уберечь от мобилизации в армию, несмотря на то, что уже третий год шла война с Германией и сверстники Сосуна давно служили в солдатах.

Казалось, и Сосун был доволен. С годами стала забываться кровная обида, которую староста нанёс его отцу и ему. Сосун относился к Гомуилу почтительно, как и подобает примерному слуге. Рано познав горькую сиротскую жизнь, он вёл себя покорно, весь отдаваясь работе, и был доволен тем, что у него есть над головой крыша, свой сыр и хлеб.

Его сестра Пери, несмотря на лишения, которые ей пришлось испытать в детстве, расцвела, как дикая роза среди колючего кустарника, слыла первой красавицей на селе. Сосун

гордился сестрой, любил её. Но из-за её красоты на душе у Сосуна в последнее время было неспокойно. По селу ходили слухи, будто Пери и сын старосты Эсеф любят друг друга и даже тайно встречаются. Это больше всего тревожило Сосуна. Он был твёрдо уверен, что староста ни за что не согласится женить сына на бедной девушке, тем более на сестре своего батрака. А тайные свидания до добра не доведут. Злые языки могут очернить доброе имя девушки, и тогда едва ли кто захочет взять её в жёны.

«А вдруг это правда?» – с тревогой подумал юноша. Странное поведение сестры за последнее время тревожило его, он невольно прислушивался к отрывочным слухам, которые доходили до него. Пери чаще стала уходить из дому, иногда даже не спрашивая разрешения, подолгу простаивала перед зеркалом, не стесняясь присутствия брата, беспричинно смеялась, а иногда грустила.

Сегодня Сосун проснулся на рассвете. Он встал, чтобы подложить сена корове. Проходя мимо постели сестры, он невольно обратил внимание на её лицо, утопавшее в волнах размётанных чёрных волос. Она блаженно улыбалась, а её губы шептали какие-то слова. Сосуну показалось, что она во сне произносит имя Эсефа. В этот миг все подозрения, накопившиеся за последнее время, нахлынули на него, а чувство любви и привязанности к сестре сменилось

безрассудным гневом. Ему хотелось исхлестать её сонную по щекам, схватить за волосы, стащить с постели и бить, бить... Но он перешибил себя, решив узнать обо всём, когда она проснётся. Потом Сосун отказался от своего намерения, его гнев остыл. «Может быть, всё это небылицы, – утешал он себя. – Кто не знает наших деревенских сплетниц, они способны сделать из мухи слона».

... В саду, где собралась молодёжь поиграть в мяч, было шумно и весело. Девушки с притворным испугом, громко смеясь, перебегали от одного дерева к другому, когда парни гнались за ними, стараясь попасть мячом.

Когда закончилась игра в мяч, девушки отделились от парней и, шумно обсуждая результаты игры, не спеша двинулись в глубь садов по направлению к лесу. За ними, держась на почтительном расстоянии и перекидываясь шутками, последовали парни. А одна пара отстала от других. Высокий юноша с добродушно-весёлыми глазами, круглым курносым лицом стоял с Пери под раскидистой яблоней и машинально наматывал на палец бахрому её платка, точно хотел прочнее привязать девушку к себе. Это был Эсеф, сын старосты. Над их головами щебетали птицы.

– Пойдём в наш шалаш, – умоляюще проговорил юноша и слегка потянул девушку за руку.

Пери не сопротивлялась и не возражала. Пожалуй, там, в стороне от любопытных, ревнивых взглядов можно спокойно посидеть с любимым, налюбоваться им, наговориться вдоволь. Держась за руки, они вышли к невысокой глинобитной садовой ограде, за которой расстилалась чистая поляна, окружённая вековыми развесистыми тополями, дубняком и карагачем. В середине поляны росли, сбившись в кучу, сплошные кусты тёрна, увитые со всех сторон ежевикой.

Перебравшись через ограду, Эсеф и Пери, точно дети, вырвавшиеся на волю, с весёлым смехом побежали к кустам тёрна. Подбежав к терновнику, они сначала огляделись вокруг, и, убедившись, что их никто не видит, раздвинули колючие ветки и скрылись в кустах.

Едва Пери и Эсеф успели перебраться через садовую ограду, как в саду между деревьями мелькнула чья-то женская фигура в пёстрой одежде. Стараясь быть незамеченной, перебегающая от дерева к дереву, она подкралась к ограде.

Густой кустарник, куда спрятались Пери и Эсеф, надёжно укрыл влюблённых. Тесно переплетавшиеся верхушки терновника образовали небольшой естественный шалаш. Внутри шалаша пахло прохладной сыростью и травой. Укрывшись под зелёным шатром, влюблённые почувствовали себя так, как будто они одни на

всём белом свете. Им казалось, что весь мир со своими радостями и мечтами заключался сейчас в этом крохотном уголке, куда не проникал ни человеческий взор, ни солнечный луч.

– Хорошо мне с тобой, Эсеф, но сегодня я долго задерживаться не буду, – склонив голову набок, мило улыбнулась Пери.

– Почему! – взмолился Эсеф, с обожанием глядя на любимую.

Пери в смущении опустила глаза.

– Брат недавно ругал меня за то, что долго ходила за водой, – с беспокойством произнесла Пери. – Мне кажется, он знает... – Девушка ещё ниже опустила голову, скрывая своё смущение.

– Когда поженимся, за водой не будешь ходить. У нас служанка есть, – произнёс Эсеф. – А что касается брата... Пусть знает, что мы любим друг друга. Всё равно осенью свадьбу справим.

Девушка подняла голову и, не скрывая своей радости, долго влюблёнными глазами посмотрела в лицо Эсефа, потом с тревогой спросила:

– А вдруг твой отец не захочет ввести меня в свой дом? Я же сирота, дочь пастуха, а вы люди богатые, знатные. К тому же у него на примете есть для тебя другая девушка.

– Не напоминай мне об этом, – сердито прервал он её.

Лицо юноши вспыхнуло от волнения, словно отец и в самом деле собирался помешать его

женитьбе на любимой девушке. Потом он взял в свои ладони голову Пери, прижал к своей груди и тихо, клятвенно прошептал:

– Ах, Пери-жан, Пери-жан! Если бы ты только знала, как я тебя люблю! Клянусь отцом! Во сне, наяву – ты всегда со мной. До нашей встречи мне казалось, что всемогущая любовь Меджнуна и Лейлы – выдумка ашугов. А теперь я верю, – есть такая любовь.

Пери слушала, как бьётся сердце любимого, вдыхала запах его одежды, сердце её замирало от счастья, и она беззвучно плакала, роняя непослушные слёзы. Какая-то огромная, томящая душу нежность охватила её. Ей хотелось погладить лицо любимого, прижаться своей щекой к его щеке. Но она постеснялась сделать это. Ей была приятна близость любимого, его крепкие объятия. Посмотрев на Эсефа влажными от слёз глазами, Пери с улыбкой спросила:

– Помнишь, Эсеф, как много лет назад, когда мы были детьми, ты приходил к нам во двор и просил, чтобы я пришла поиграть на вашу улицу?

– Помню. А ты сказала тогда «я с мальчишками не иглаю», – подражая её детскому выговору, произнёс Эсеф.

– Да, так я говорила, – встряхнула Пери своими косами. – А сейчас даже в кусты с тобой спряталась, – задумчиво произнесла она. – Как меняются люди.

Вдруг недалеко от кустов, где укрывались влюблённые, раздался душераздирающий вопль:

– О Эсеф, ты убил меня! О Пери, пусть тебе на свадьбе сыграют «обратный марш»!

Пери вздрогнула, побледнела.

– Это она, Хонум, каркает на меня, рыщет по нашим следам, – растерянно прошептала суеверная девушка. – Нам нельзя показываться ей. Она способна на любую пакость. Клянусь жизнью единственного брата, – с гневно сверкающими глазами проговорила Пери. – Я бы схватила эту подлую тварь за волосы, волочила бы по земле и дала бы почувствовать, как накликают беду на голову невинного человека.

... После старосты раби Нахум был самым богатым человеком в селе. Его виноградники, фруктовый сад, лес, поля и скот приносили ему немалый доход. У престарелого Нахума была единственная дочь Хонум, наследница его богатства.

Староста Гомуил, жадный до денег, втайне мечтал завладеть наследством раби Нахума. Ради этого он чаще стал бывать в доме раби, подружился с ним. Нередко, встретив Хонум, Гомуил с ласковой шуткой говорил ей: «Хочу, чтобы ты была моей снохой». Об этом намерении старосты знали не только родители девушки, но и все нюгдинцы. Хонум, встречая Гомуила или его жён, прикрывала лицо платком, как это полагается будущей снохе.

Хонум была худой, болезненной девушкой, её тонкие, плотно сжатые губы придавали бледному лицу ехидное выражение. Вокруг низкого лба вились рыжие волосы. Единственное, что украшало её – это глаза. Они были большие, светло-карие, лучистые. Но и они скорее отталкивали, чем привлекали. Когда она смотрела на человека, то казалось, что Хонум хочет заглянуть в его душу, изобличить в чём-то нехорошем. Не только парни, но и девушки сторонились её. Особенно избегал встречаться с ней Эсеф, к которому она была равнодушна и в мечтах считала своим женихом.

В этот день Хонум проснулась в прекрасном настроении, полная надежд и счастливых грёз. Вчера, когда она во дворе разжигала самовар, к ним пришёл вместе с отцом будущий свёкор. Пропустив вперёд раби, староста, улыбаясь, подошёл к ней и, указывая на самовар, ласково шепнул ей на ухо: «С этой осени ты будешь разжигать его в моём доме».

Встав с постели, Хонум подошла к сундуку, обитому разноцветным железом, открыла крышку. Сундук был набит дорогими пёстрыми платьями, юбками, шароварами, головными платками. По всему было видно, что родители не жалели денег на наряды единственной дочери. Хонум некоторое время задумчиво постояла у сундука, раздумывая, во что лучше ей

нарядиться, чтобы вызвать зависть у девушек, особенно у Пери, которую она ненавидела всей душой.

Спустя несколько минут Хонум уже стояла перед зеркалом. Она тщательно рассматривала своё лицо и богатый туалет. Хонум надела широкие шаровары из красного шёлка, платье из тёмно-синего бархата, поверх которого повязала широкий серебряный пояс, отделанный крупными монетами. Её голову украсил цветастый гянджинский платок.

Вычурный туалет ещё больше подчёркивал непривлекательность Хонум. Но сегодня она казалась самой себе восхитительной.

Любуясь собой в зеркале, Хонум мечтала о том, как она сегодня покорит сердце Эсефа.

Не может быть, чтобы отец Эсефа не сказал ему, что он должен стать её мужем. А если он открыто не проявляет к ней своих чувств, то только потому, что, может быть, стесняется её или до женитьбы хочет позабавиться с дочерью пастуха Шебетей. Но сколько же можно ждать? Ведь вчера будущий свёкор ясно дал понять, что осенью она будет женой Эсефа.

Хонум живо представила себе, как её появление в саду в новом наряде поразит девушек и парней. Но она сделает вид, что ничего не замечает. Пусть знают, что для неё ходить в дорогих нарядах, о которых многие девушки не смеют и мечтать, – привычное дело. А дочь пастуха,

как только взглянет на неё, сразу же почувствует своё ничтожество перед ней. «Все говорят, что она красива. Мало ли что, – рассуждала она про себя. – Красоту на стену не вешают. Змея тоже красива, а её все ненавидят, стараются раздавить. Пери красива. Но на ней никогда приличной юбки не бывает. А вот посмотрит она на меня и сразу же убежит, как чёрт от ясного солнышка. Пусть помучается от зависти и ревности. Эсеф, конечно, не станет удерживать свою пастушку. Мысленно он даже упрекнёт себя: «Почему отдавал предпочтение этой нищей оборванке, Пери? Какой я был дурак! Ведь Хонум и симпатичная, кажется, и богатая». А я сделаю вид, что Эсеф мне безразличен, буду продолжать разговаривать с девушками и беспечно смеяться.

Когда же все разойдутся, я неторопливо, как бы прогуливаясь, направлюсь в отцовский сад. Ведь имею же я право погулять в собственном саду? Кому до этого какое дело? Разве я виновата в том, если Эсеф в это время будет следовать за мной, как тень? Когда же мы окажемся наедине, Эсеф с виноватым видом, умоляющим голосом скажет: «Хонум, какая ты сегодня красивая. Не уходи, я давно собираюсь поговорить с тобой!».

Я же сделаю удивлённое и даже обиженное лицо, слегка прикрою его платком и отвечу: «Что за глупости! Я не собираюсь разговаривать наедине с чужим парнем, не хочу порочить

своё доброе имя и своих почтенных родителей, как некоторые безнравственные девушки». Эсеф сделает страдальческое лицо и скажет: «Оставим эти разговоры. Разве мы чужие? Ведь мы жених и невеста». А я ему отвечу: «Это ещё как сказать: захотят ли мои родители выдать меня замуж за тебя». Чёрные глаза Эсефа загорятся гневом и страстью. «В таком случае, мне остаётся только похитить тебя!» – воскликнет он и протянет руку, чтобы схватить меня. Но я не поддамся ему, а спрячусь за деревом. Эсеф будет стараться нагнать меня, а я, перебегая от одного дерева к другому, буду его дразнить и громко от души смеяться...»

Воображаемая картина до того понравилась Хонум, что она на самом деле громко расхохоталась.

На её смех из соседней комнаты поспешно вышла встревоженная мать Хонум. Увидев дочь, смеющуюся перед зеркалом, она строго сказала:

– Сколько раз я тебе говорила: не смотри так часто в зеркало, с ума сойдёшь. Ведь в зеркале сидит бес, иначе стекло не могло бы отражать лицо человека.

В тот день Хонум вернулась с гуляния злая, разбитая и бесконечно несчастная. Эсеф, как и прежде, был к ней безразличен. Он, кроме Пери, никого не хотел замечать. Не произвели впечатления и дорогие наряды. Ей даже каза-

лось, что девушки неохотно с ней разговаривают, чуждаются её и относятся к ней холоднее, чем это было прежде, и она чувствовала себя, как незащищенная куропатка, попавшая в стаю хищных птиц. А ненавистная дочь пастуха была беспечна и весела. Среди своих подруг, таких же оборванок, она казалась сказочной лесной царевной в окружении преданных ей фей.

Хонум долго делала вид, что не обращает внимания ни на Эсефа, ни на Пери. В то же время она ревнивым взором страдающей соперницы следила исподтишка за каждым их взглядом и движением. Когда же они направились к садовой ограде, Хонум не выдержала: она, словно её толкала неподвластная ей сила, пошла вслед за Эсефом и Пери. Но пока Хонум перебиралась через ограду, влюблённые успели укрыться в своём тайнике. Долго соперница кружилась по поляне, стараясь напасть на их след. Но её поиски были тщетны. Уставшая, потрясённая коварством Эсефа, она упала на землю, как смертельно раненный человек, которого покидает жизнь, и в отчаянии закричала: «О Эсеф, ты убил меня!.. О Пери, чтоб тебе на свадьбе сыграли «обратный марш!»

Вернувшись домой, Хонум машинально подошла к зеркалу. Блуждающим взглядом она посмотрела на своё отражение. Из зеркала на неё глядело удручённое, ещё более подурневшее лицо. В то же мгновение рядом с её отражением

возникло лицо соперницы, весёлое, улыбающееся. Не в силах вынести этого видения, Хонум, словно в страхе, прикрыла глаза руками и зарыдала горько и безутешно. В её плаче вылилось всё, перенесённое за день: и оскорблённая гордость, и незаслуженная обида, и безысходная тоска.

Мать, услышав её плач, выбежала из внутренней комнаты. Увидев рыдающую Хонум, она решила, что бес, сидящий в зеркале, повредил рассудок дочери.

– Разве не говорила я тебе, дочка, не смотри так часто в зеркало, оно сведёт тебя с ума! – запричитала старуха, глядя с укором на дочь.

Потом она резким движением сняла со стены зеркало, завернула его в первую попавшуюся под руку тряпку и понесла в сарай, призывая тысячи проклятий и бед на голову тех, кто выдумал эту бесовскую штуку.

Г л а в а II

КАВАЛЕР ГЕОРГИЕВСКОГО КРЕСТА

Сосун встал рано утром. Надо было вместе со стариком Шелбетом съездить в лес, заготовить шесты и брёвна для постройки на токах старосты летних конюшен. Илогу, выполнявший теперь роль управляющего в хозяйстве

Гомуила, дал такое поручение батракам ещё с вечера.

Взяв свою котомку, в которую заботливая Пери положила два чурека, кусок сыру и вяленую рыбу, прихватив топор и пилу, Сосун надел новые чарыки и вышел во двор.

Утро выдалось тихое, в воздухе струилась прохлада. Но день обещал быть жарким: из-за леса медленно поднималось солнце, распустив свой багрово-красный веер, сотканный из бесчисленных золотистых нитей, а на небе – ни облачка.

Выйдя во двор, Сосун услышал печальное причитание соседки Майрам, жены Рахмона.

Прошло уже десять лет, как Рахмона за судили и сослали в Сибирь за поджог скирды старосты. Вот уже два года, как от него не было никаких вестей.

В представлении нюгдинцев Сибирь была земным адом, краем света, сплошной снежной пустыней с жестокими морозами, где никогда не светит солнце, не зеленеет трава, куда не залетают даже птицы. Все были уверены, что рано или поздно Сибирь похоронит в своих снегах кости бедного Рахмона.

Все эти десять лет жена Рахмона встречала утро и провожала день плачем. Плакали и во многих других семьях, плакали по погибшим близким на войне «за веру, царя и отечество», плакали по мужьям, братьям и сыновьям, которые вот уже не первый год проливали свою

кровь на бессмысленной, никому не нужной войне. Целыми днями висел над селом плач. Он напоминал нюгдинцам о безвременной гибели знакомых и близких, о неизлечимых ранах, которые наносила сердцу война, хороня мечты и надежды на радость, счастье, отравляя существование человека.

Спустя некоторое время, Сосун и Шелбет уже ехали на фургоне, запряжённом парой откормленных лошадей. Сытые кони бойко бежали по просёлочной дороге, ещё мокрой от холодной предутренней росы. Сосун сидел на козлах, держа в руках вожжи, а Шелбет, прислонившись к дощатому борту фургона, медленно жевал беззубым ртом хлеб с сыром, взятые им из котомки Сосуна. В его куцей бородёнке торчали мелкие соломинки: не имея постели, старик спал на соломе.

За последние годы Шелбет ещё больше похудел и почернел и своим видом напоминал прокопченную жердь. Его лицо и тонкую шею сплошь покрывали бесчисленные морщины, во рту не осталось ни одного зуба, он стал плохо видеть, но старик вынужден был батрачить из-за куска хлеба.

Ехали молча, каждый думал о своём. В утренней тишине отчётливо раздавался монотонный перестук колёс. Когда подъехали к лесу, Сосун ослабил вожжи, дав возможность лошадям идти шагом, и повернулся к Шелбету:

– Сейчас у нас в селе только и слышишь,

как плачут наши бедные женщины, – с горечью произнес он.

Шелбет аккуратно уложил в котомку хлеб с сыром, вытер руки о свою грязную, всю в разноцветных заплатках, рубашку. Провожая задумчивым взглядом вековые деревья, росшие вдоль дороги, он сердито проворчал:

– Есть такая пословица: «беки дерутся, а у нукеров ¹ головы летят». Цари, падишахи ссорятся, а райяты ² за это кровью расплачиваются.

Старик отложил в сторону котомку, вытянул худые ноги и принялся неторопливо рассказывать Сосуну о причине разгоревшейся войны.

– Дело было так, – начал свой рассказ Шелбет. – Германский падишах пригласил как-то к себе в гости русского падишаха с женой. По этому случаю закатали богатый пир. Когда все здорово подвыпили, немецкий падишах, охмелевший от вина, крепко ущипнул в недозволенное место жену русского падишаха, которая сидела с ним рядом. Русский генерал заметил эту наглую выходку германского властелина и встал на защиту чести своего государя. Он подошёл к немецкому падишаху и вlepил ему оплеуху. Немецкий генерал не стерпел оскорбления своего государя и стукнул русского генерала. Вслед за

¹ Нукер – слуга.

² Райяты – подданные.

генералами вступили в драку русские и немецкие солдаты, охранявшие своих императоров во время кейфа. С этого и началась война...

Старик умолк и скорбно покачал головой.

– Проклятые падишахи, – злобно проговорил Сосун, беспокожно задвигавшись. – Едят, пьют и худа не чувствуют. Их бы заставить поработать за кусок хлеба, не стали бы с жиру беситься...

Когда они выехали на дорогу, проложенную вдоль железнодорожной насыпи, лошади вдруг остановились, словно натолкнулись на какое-то непреодолимое препятствие. Батраки, прервав беседу, посмотрели вперёд. В нескольких шагах от них, посреди дороги стоял, опираясь на деревянные костыли, пожилой солдат с Георгиевским крестом на груди. Лоб и левую щеку солдата до подбородка прорезал широкий малиновый шрам, вместо левого глаза зияла красно-красная впадина. Широко улыбаясь, солдат единственным чёрным глазом пристально всматривался в сидящих в фургоне, а те, в свою очередь, с недоумением разглядывали неизвестного.

– Родные, дорогие мои, неужели не узнаете?! – с горечью в голосе сказал солдат, и его изуродованное лицо, обросшее густой щетиной, искажилось страданием.

– Дядя Рахмон! – с радостью и удивлением воскликнул Сосун и мигом спрыгнул на землю. Он подбежал к солдату, крепко обнял его и поцеловал в щеки и плечо.

Старик Шелбет тоже слез с подводы, подошёл к Рахмону, сердечно обнял его и поцеловал.

Забыв, где они находятся, забыв о том, что Рахмону тяжело стоять на костылях, все трое принялись громко разговаривать, смеяться, выражая свою радость по поводу неожиданной встречи. Сосун и Шелбет наперебой задавали вопросы Рахмону о его житье-бытье.

– Да что мы стоим среди дороги, – первым спохватился Сосун. – Пойдёмте на подводу.

Сосун и Шелбет помогли Рахмону взобраться на фургон и, повернув лошадей, поехали в село.

– О семье не беспокойся, – поспешил успокоить Рахмона Шелбет, как только они поудобнее уселись в фургоне. – Твоя жена, слава богу, жива и здорова, дети и внуки тоже.

– А я сегодня утром вспоминал о тебе, дядя Рахмон, – блестя тёмно-карими глазами, радостно говорил юноша. – Бедная тётя Майрам каждый день плачет, вспоминая тебя. Я так рад нашей встрече, как будто родного отца увидел, клянусь богом!

– Спасибо, сынок, спасибо, – растроганно произнёс Рахмон, поглаживая больную ногу.

Когда они въехали в лес, остро запахло листьями, травой и прохладной сыростью, в гуще деревьев слышалось щебетание пташек. Рахмон поднял голову, и его лицо расплылось в блаженной улыбке.

– Как хорошо! – воскликнул он. – Родина!
– И из его глаза выступила слеза.

– Мы, признаться, думали, что тебя давно в живых нет, а ты, оказывается, после Сибири успел повоевать, – сказал старик, хитро посмотрев на Рахмона.

– Сибирь вовсе не так страшна, как вы о ней думаете, – сказал Рахмон, глядя на собеседников. – Там живёт немало русских людей. Они, как и мы, крестьянствуют. Хороший, приветливый народ. А какие там леса, сколько земли, сколько всякого добра! Только и там есть свои гомуилы. Им живётся вольготно, а бедняков они обирают и притесняют так же, как это делается у нас. Но самое страшное сейчас – война. Там каждый день гибнут тысячи здоровых, молодых людей, – грустно заключил солдат.

С первых минут встречи с Рахмоном Сосун обратил внимание на маленький, аккуратный серебряный крест, прикрепленный к разноцветной ленточке. Крестик украшал грудь солдата. От тряски подводы крестик слегка вздрагивал и покачивался, как маятник. Разговаривая с Рахмоном, Сосун не сводил глаз с его груди. Ему не терпелось узнать, что означает этот крестик, почему Рахмон повесил его на грудь, не перешёл ли он в христианскую веру? Но спросить обо всём этом Рахмона он стеснялся. Рахмон, заметив любопытные взгляды молодого человека, понимающе улыбнулся ему:

– Это боевая награда, называется Георгиев-

ский крест. Получил я его прямо из рук царя, – произнёс Рахмон, глядя с усмешкой на своих ошеломлённых таким известием односельчан.

– самого царя? – невольно переспросил Сосун с расширенными от удивления и испуга глазами, нетерпеливо ёрзая на своём неудобном сидении.

– Да, царя, – подтвердил Рахмон. – Давайте сперва закурим, а потом я вам расскажу, как всё это было.

Он вынул из кармана круглую жестяную коробку с солдатской махоркой. Угостив Шелбета и Сосуна, он не торопясь свернул сигарку. Когда закурили, Рахмон, весело вращая своим выпученным глазом, спросил:

– Ну, как табачок? Получше, чем наш самосад?

– Хороший, в горле не дерёт и даже не першит. Одно удовольствие курить такой табак, – ответил юноша.

– Да, на то он и казённый, – одобрительно произнёс Шелбет.

Сосуну не терпелось скорее услышать, как грозный и страшный царь, каким он ему представлялся, вдруг явился к его земляку и собственноручно вручил награду. Это обстоятельство поднимало Рахмона в его глазах, делало его героем, необыкновенным человеком.

Лошади шли неторопливым шагом, лениво отбиваясь своими пышными хвостами от надоедливых оводов. Июньское солнце

щедро посылало на землю своё тепло. Случайный ветерок, пробегая над пшеничными полями, волновал их, и тогда сухо шелестели спелые колосья, словно перешёптывались друг с другом.

– Вот как это было, – начал свой рассказ Рахмон, держа между пальцами сигарку, от которой поднималась лёгкая тоненькая струйка синего дымка и тут же таяла в воздухе. – Есть в России город Гомель. Там я лежал в лазарете после ранения, в палате для выздоравливающих. Однажды, глядим, наших врачей, фельдшеров, сестёр милосердия, точно оса укусила: они забегали взад и вперед, засуетились, у всех лица какие-то беспокойные, озабоченные, строгие. Сам начальник лазарета, военный врач, высокий толстый мужчина, через каждые десять минут вбегал встревоженный в нашу палату, давал на ходу какие-то распоряжения врачам, сёстрам милосердия, нянкам, тыкал пальцами в разные стороны и опять убегал. Не прошло и часу, как в лазарете всё прибрали, помыли, старательно вытерли стёкла на окнах, сменили нам бельё, заправили койки. Солдаты, изумлённо глядя друг на друга, перешёптывались, высказывали разные догадки. «Знаешь, старина Рахмон, – сказал мне сосед по койке, солдат Иванов, хитро подмигивая, – наверное, едет какая-нибудь высокая комиссия. Значит, будет нам и стопочка, и вкусный обед».

Только что Иванов это сказал, в палату вбегает начальник лазарета, поминутно вытирая носовым платком пот с лысины. Смотрим, наш начальник от волнения даже покраснел. Окинув быстрым взглядом помещение, он, видимо, остался доволен. «Братцы! – обращается к нам начальник. А голос у него громкий, как у сказочного дива. – Братцы, – говорит он, – через час вас посетит его императорское величество, государь Николай Александрович... Это высокая честь для нас с вами, братцы!..»

Все застыли в немом удивлении. А со мной чуть обморок не приключился, до того это известие напугало меня, хотя, как вы знаете, я не из робкого десятка.

Рахмон выбросил окурок на дорогу и с улыбкой посмотрел на своих собеседников, которые слушали его с напряжённым вниманием.

– Ведь о царях, султанах, падишахах я слышал только из сказок, – произнёс Рахмон, словно оправдываясь. – С самого детства нас приучили страшиться одного их имени больше, чем смерти. Каждого падишаха и царя Николая я представлял великаном, в золотом венце и обязательно в красном одеянии в знак того, что они в любую минуту готовы пролить чью-нибудь кровь, казнить кого-нибудь. Достаточно царю или падишаху подать знак палачу, который, как я думал, обязательно их сопровождает, и голова человека летит с плеч.

– Да и я так о царях думаю, – перебил Рахмона юноша.

– Все цари жаждут чужой крови, – мрачно подтвердил Шелбет тоном, не допускающим возражения.

– Так вот, сижу, значит, я на табуретке ни жив, ни мёртв, – продолжил свой рассказ Рахмон. – Вдруг в дверях показывается невысокий сутулый человек в голубом мундире, золотых погонах, с широкой синей лентой через плечо. У него густая коротко подстриженная огненно-рыжая борода и маленькие зелёные глазки. Никогда бы не подумал, что это царь. А вокруг него целая свита дородных генералов в блестящих мундирах с золотыми позументами. Начальник нашего лазарета, потный, запыхавшийся, выскочил вперёд, посмотрел на нас и громовым голосом выкрикнул:

– Его императорское величество!..

Солдаты, стоявшие у своих коек, крикнули «ура!». Царь вместе со своим адъютантом, молодым высоким генералом, подходил к каждому солдату, о чём-то спрашивал, а потом генерал прицеплял на грудь солдату вот такой крестик, – показал Рахмон на свою грудь. – Дошла очередь и до меня. Страх у меня уже прошёл, но я чувствовал себя как в каком-то сне.

Царь подходит ко мне и кивает головой, вроде хочет спросить: скажи, мол, кто ты такой есть? Я от волнения не расслышал, что сказал царь, а по примеру других солдат вы-

тянулся в струнку и громко отрапортовал:

– Рядовой одиннадцатой стрелковой роты, третьего батальона, второго полка, шестой горнострелковой дивизии Нахшунов Рахмон, ваше императорское величество!

По моему выговору и внешности царь, видно, понял, что я не русский. Он оглядел меня и тихо спросил:

– Откуда?

– Из Нюгди, ваше императорское величество! – гаркнул я.

– Откуда, откуда? – переспросил царь, слегка нахмутив брови.

Я оторопел. Царю, наверное, не понравилось, что я родом из Нюгди. Меня охватила дрожь, ноги подкашивались. О, горе мне, думаю я, провалился мой дом, погиб я, погибли мои дети. Царь продолжал глядеть на меня, а я точно язык проглотил: не могу выговорить ни слова. Тут ко мне подбежал начальник лазарета, злой и, как змея, зашипел мне прямо в ухо: «Откуда, говорит, дурак, азиат, его величеству знать, где находится твоя паршивая Нюгда. Скажи, осёл, что ты с Кавказа».

Горький комок подкатил к моему горлу, глаза заволокла влага, чувствую, что вот-вот заплачу. Хотел тут же упасть к ногам царя, просить его: простите, мол, меня, пожалейте моих детей и внучат. Но начальник лазарета опередил меня: «Ваше, говорит, величество, рядовой Нахшунов от избытка верноподданных

чувств и от счастья лицезреть вашу священную особу лишился дара речи. Осмелюсь доложить, ваше величество, он с Кавказа».

Царь еле заметно кивнул головой и снисходительно улыбнулся. Потом ко мне подошёл генерал и торжественно сказал: «За верную службу царю и отечеству его величество награждает тебя Георгиевским крестом второй степени». Тут же он приколот этот крестик к моей груди.

Раздав награды, царь и адъютант отошли на середину палаты. Молодой генерал обратился с речью к награждённому от имени царя. Он говорил о том, что мы вроде удостоились высокой чести, получив награду непосредственно из рук царя, что император денно и нощно печётся о нас, всегда думает о благе своих верноподданных, что немцы напали на святую Русь, а нам надо воевать до победного конца и не слушать разных смутьянов, особенно большевиков, которые будто бы подстрекают народ против царя и отечества. Вся его речь была в таком духе.

Не успел генерал закончить свою речь, вдруг раздался крик тяжело контуженного младшего унтер-офицера Русакова: «Долой войну! Дайте нам землю! Да здравствует Ленин!».

От неожиданности вся царская свита растерялась. Сам царь как-то сжался, стал казаться ещё меньше ростом. «Отберите у него награду, он её не достоин», – приказал царь адъютанту. И мне показалось, что в маленьких зелёных гла-

зах царя вспыхнули злые огоньки, какие бывают ночью у волка, когда он выходит на добычу.

Русаков сам сорвал крестик с груди и швырнул его на пол. «Берите, собаки, палачи», – безумным голосом выкрикнул он и лишился чувств. Офицеры, как хищники на добычу, бросились на Русакова. Не дав ему прийти в себя, они выволокли его во двор лазарета. Спустя несколько минут раздались выстрелы, от которых мы все невольно вздрогнули...

Фургон уже подъехал к сельским садам, за которыми виднелись серые плоские крыши домов. Сосун передал вожжи старику Шелбету. Одной рукой опираясь о круп лошади, другой – о борт фургона, он ловко спрыгнул на землю.

– Вы потихоньку поезжайте, – сказал он Рахмону, обнажая в улыбке свои крепкие белые зубы, – а я добежу до дому раньше вас, сообщу тёте Майрам о твоём приезде и получу с неё магарыч.

С этими словами Сосун во весь дух помчался в село.

Г л а в а III

СВАДЬБА

Часть обширного двора старосты, обнесённого высокой глинобитной оградой, занимал небольшой фруктовый сад. Вокруг него

и между деревьями росли приземистые кусты ярко-красных, белых и жёлтых роз, нарциссы, ромашка, гвоздика. Цветы источали тонкий аромат. Посреди сада, возвышаясь над другими деревьями, стояло старое развесистое ореховое дерево. От времени с него местами отвалилась кора, обнажив полуистлевший ствол. И всё же богатырь-орех держался крепко. Среди других деревьев он выглядел, как великан среди пигмеев.

В часы досуга Гомуил любил посидеть в тени этого дерева.

И сейчас, прислонившись широкой спиной к ореху, подогнув под себя ноги, сидел он на мягком и пёстром ахтынском ковре. Перед ним на скатерти стояла четверть розового вина. Между мисками с солёными огурцами и шашлыком лежали пухлые, намазанные яичным желтком и посыпанные маком домашние чуреки.

День клонился к вечеру. Лучи заходящего солнца падали на стеклянную веранду большого двухэтажного дома Гомуила, и казалось, что она охвачена багровым пламенем. Лёгкий ветерок играл поседевшей бородой Гомуила, тихо шумел в ветвях деревьев, срывая с них пожелтевшие листья. Они, кружась в воздухе, медленно, беззвучно падали на землю, на папаху, на колени старосты, на скатерть, напоминая Гомуилу об осеннем увядании, о прошедшей молодости. Откуда-то доносилась грустная мелодия. Это Рахмон играл на своей зурне. Гомуил,

застыв в задумчивой позе, невольно прислушивался к печальному напеву. Не прикасаясь к еде, он пил вино стакан за стаканом. Лицо у него было хмурое, сосредоточенное, а глаза с красными прожилками – строгие и печальные.

Невесёлые думы одолевали старосту, отравляя душу. Он хотел бы рассказать кому-нибудь о своих печалях и горестях, облегчить своё сердце, но у него не было близкого друга. Никто ему не сочувствовал и не мог утешить. Односельчане ненавидели и боялись его, родственники, такие же бедняки, как и многие нюгдинцы, лебезили, заискивали перед ним, клялись его именем, а за глаза завидовали, желали ему разорения. Он чувствовал себя чужим и в родной семье. Первая жена, после того как Гомуил ввёл в свой дом вторую – Гюзюргул, избегала его, давая этим понять, что между ними всё кончено. Да и Гюзюргул тоже не принесла ему радости.

Вот почти тридцать лет живёт он с ней под одной крышей, а она чувствует себя в его доме как пленница, которую насильно утнали с родины, оторвали от любимых и родных. Гюзюргул не интересовали дела и заботы Гомуила, она была ко всему равнодушна. На её лице муж редко видел улыбку, не слышал от неё приветливого слова. Гомуил делал всё, чтобы расположить к себе эту женщину, стереть в её душе память о первом муже. Он не жалел для неё денег на дорогие наряды, каждый день справлялся о

её здоровье, предупреждал все её желания, был с ней ласков и обходителен, несмотря на свою дикую, необузданную натуру и прирождённую грубость. Из-за любви к ней он относился к своему пасынку Шолуму, воспитанному в его доме, как заботливый отец. А когда Шолум подрос, Гомуил, не считаясь с расходами, отвёз его в город, определил в гимназию, где он учился вместе с детьми потомственных аристократов и богачей.

Годы шли своей чередой, голову и бороду Гомуила посеребрила седина, а Гюзюргул оставалась такой же сдержанной и чужой. И сейчас, как и в первые годы их совместной жизни, она, лёжа с ним в одной постели, посылает проклятия и смерть на голову того, кто убил её первого мужа, не зная о том, что убийцей является он, Гомуил. Да и сын её тоже хорош, нечего сказать. Не впрок пошло ему образование. Вместо того, чтобы верно служить царю, добиваться чинов, взять себе в жёны какую-нибудь красавицу из богатой семьи и наслаждаться жизнью, пошёл по кривой дороге, стал безбожником, смутьяном и угодил в тюрьму. Теперь уже много лет о нём нет известий.

Добро, которое он, Гомуил, хотел сделать второй жене и её сыну, обернулось злом против него же самого. Теперь Гюзюргул ещё больше стала чуждаться мужа, упрекать за то, что он отвёз сына в город учиться и этим загубил его жизнь. Но сейчас Гомуил больше всего зол

на своего единственного сына Эсефа. Сегодня, когда Гомуил сидел на майдане и беседовал с аксакалами, ему, как на грех, захотелось напиться. В это время, низко склонившись под тяжестью своей ноши, шла с родника с полным кувшином за спиной дочь раби Хонум, которую он мысленно уже считал своей снохой. При виде её лицо старосты расплылось в доброй улыбке. Он поманил девушку. Хонум, чуть прикрыв лицо платком, сразу же подошла к нему.

– Дай, дорогая невестушка, напиться из твоего кувшина, – ласково сказал он, протягивая руку.

Услышав эти слова, девушка внезапно изменилась в лице, её глаза округлились, вся невысказанная обида, которая накопилась у неё за последние месяцы на душе, прорвалась наружу. Теряя самообладание, она, чуть не плача, крикнула:

– Зачем ты, дядя Гомуил, насмехаешься надо мной! Твоя невестка – дочь пастуха Шибетея, а не я.

Девушка покачнулась, из её расслабленной руки вдруг выскользнула верёвка, и кувшин, упав на землю, с грохотом разбился у ног ошеломлённого старосты.

Гомуила точно вихрем подхватило и понесло с майдана. Полный тревоги и гнева, он поспешил домой. У него не нашлось даже слов – ни утешения, ни упрёка – для ответа на обиду Хонум. Идя домой, он вспомнил, как однажды

Илогу говорил, что Эсеф ухаживает за сестрой батрака Сосуна. Но Гомуил не придавал тогда этому никакого значения, он лишь пакостно улыбнулся, ответив словами известной поговорки: «мой гвоздь в стене чужого дома». Теперь он не на шутку испугался, как бы эта пастушка всерьёз не вскружила голову его сыну, не свела бы на нет все его планы насчёт женитьбы Эсефа на Хонум.

Староста застал сына дома. Эсеф сидел на матрасе, разостланном на полу, и пел песню, аккомпанируя на сазе. Когда Гомуил вошёл в комнату, Эсеф, увидев отца, смущённо умолк, встал и повесил саз на гвоздь. Отец с неприязнью посмотрел на сына: «У него на уме только любовь да песни. погоди, я возьмусь за тебя, харамзада», – мысленно пригрозил он сыну.

Но недовольство сыном Гомуил постарался скрыть. Он решил действовать более осторожно и хитро, следуя мудрой поговорке: «если хочешь поймать жеребенка, незачем перед ним кидать вверх папаху».

Староста, как ни в чём не бывало, опустился на подушку. Растянув губы в улыбке, он глазами указал сыну место рядом с собой. Когда сын уселся, Гомуил, немного помолчав, заговорил:

– Ты уже молодой человек, тебе двадцать второй год. В твоём возрасте другие имеют детей, а ты всё ещё ходишь неженатым. Я старик, мне уже минуло шестьдесят, да и мать в годах.

Мы хотим, пока живы, порадоваться на твоей свадьбе, понянчить наших внучат. – Гомуил умолк, посмотрел на юношу с деланной улыбкой, а глаза из-под кустистых бровей настороженно, испытующе следили за выражением его лица. Эсеф слушал отца, низко опустив голову. – Вот я, сынок, – продолжал Гомуил, не сводя глаз с сына, – приметил тебе девушку из хорошей семьи, ты её знаешь. Это Хонум, дочь раби Нахума.

При упоминании имени Хонум брови юноши невольно сдвинулись, а на нежном, как у девушки, лице отразилось недовольство. Хотя он давно с тревогой ожидал этой минуты, готовился к ней, много раз мысленно возражал отцу, спорил с ним, протестовал против его желания насильно навязать ему нелюбимую девушку, сейчас все же, услышав об этом, он растерялся, не зная, как ответить отцу. Короткое молчание сына ободрило старика.

– Что же ты, сынок, молчишь? – с укором сказал Гомуил. – Будь она плоха, недостойна тебя, разве я решился бы ввести её в свой дом. Учти, сынок, она единственная наследница всего состояния и земель своего отца, который не сегодня-завтра, дай бог ему здоровья, отойдет в мир иной. А я хочу умереть спокойно, хочу увидеть тебя более богатым, чем был я.

Эсеф угрюмо молчал, слушая Гомуила. Ему было стыдно оттого, что из-за своей женитьбы придётся поспорить, а может быть даже

поссориться с отцом, которого он любил и почитал и не хотел восставать против его воли. Но тревожная мысль, что он может потерять Пери, придала ему смелость. Он поднял голову и, уже не смущаясь, посмотрел отцу прямо в глаза.

– Ты говоришь, отец, что женитьба на Хонум сделает меня богатым, – с дрожью в голосе произнёс он. – Богатым я наверно буду, а счастливым – никогда.

– Богатство разве не счастье, глупец? – с огорчением сказал староста, строго посмотрев на сына. – Я знаю, красота сестры Сосуна вскружила тебе голову. Только красота не картина, на стену не повесишь. Пери – нищенка. Да и не пристало для нашего рода вводить в свой дом дочь пастуха. Ты меня этим опозоришь.

Юноша опустил голову и весь как-то сторбился, точно на его плечи взвалили непосильную тяжесть. Потом вскочил, словно его подтолкнула какая-то неподвластная ему сила, и отошёл на середину комнаты.

– Отец, прости меня, но я не люблю дочь раби, не переносу её! – с отчаянием в голосе крикнул Эсеф. – Если ты не позволишь мне жениться на Пери, я... я убегу из дому.

Гомуил невольно вздрогнул, его глаза налились кровью, а большие тяжёлые руки сжались в кулаки. Он порывисто поднялся.

– Вон, вон! Провались с моих глаз, пока я тебя не задушил, харамзада! – закричал он в

бешенстве и, потрясая кулаками, двинулся на сына.

Бледный, взволнованный юноша, с опаской глядя на отца, попятился к двери и выскочил на улицу.

Из внутренних комнат вышла Гюзюргул, полная женщина лет пятидесяти, с седеющими чёрными волосами, с болезненным блеском в больших тёмно-карих глазах, обрамлённых густыми длинными ресницами.

– Что случилось, что такое? – с тревогой спросила она мужа.

– Твой сын собирается жениться на пастушке – дочери Шебетея, – нервно шагая по комнате, не глядя на жену, бросил Гомуил, – и даже грозит убежать из дому... А о Хонум, дочери раби, и слышать не желает, негодяй!

– Вот оно что... А я думала, не дай бог, случилось что-нибудь страшное, – невольно улыбаясь, с облегчением вздохнула Гюзюргул. – Пусть женится на Пери, если она ему по душе. Девушка она красивая, здоровая, скромная. А жениться на Хонум ему, видать, не судьба.

Спокойный тон жены окончательно вывел из себя Гомуила. Его так и подмывало ударить ее, обругать, накричать на нее. Но он сдержал себя.

– Яблоко от яблони недалеко падает. Видать, и ты, и сын из одного теста слеплены, не моя в нём закваска, – выкрикнул он жене и вышел из комнаты, хлопнув в сердцах дверью.

И вот сейчас он сидит под ореховым деревом, перебирая в памяти события сегодняшнего дня, заливая своё горе вином. При мысли о том, что с женитьбой сына на ненавистной Пери он потеряет богатство престарелого раби, которое давно считал своим, сердце Гомуила болезненно сжималось, он охал, стонал, как от нестерпимой боли.

Вечерело. Землю медленно окутывали ранние осенние сумерки. На потемневшем небе зажигались первые далёкие звёзды.

Долго так сидел Гомуил. Мысли набегали одна за другой, отражались на его хищном лице. Вдруг его словно что-то осенило. Кривая улыбка исказила и без того злое лицо.

– Эй, кто там! – вдруг громко крикнул Гомуил.

На его зов из дому выбежала босоногая молодая служанка.

– Убери это, – приказал он, указывая глазами на скатерть, – а потом скажи тёте Гюзюргул, пусть возьмёт обручальное кольцо, четверть вина и два чурека. Мы с ней пойдём сейчас сватать Пери, дочь Шебетея.

Когда Гомуил и Гюзюргул пришли к Сосуну, брат и сестра сидели за ужином. При виде гостей девушка мигом вскочила и прислонилась к стене, смущённо опустив голову. Встал и Сосун.

– Добрый вечер! – весело произнёс Гомуил,

переступив поро́г, – можно к вам в гости?

– Добрый вечер, – почтительно ответил Сосун, протягивая руку для приветствия, – добро пожаловать!

Гюзюргул вынула из-под шали четверть вина, свежее выпеченные чуреки и положила их на скатерть. Затем, приветливо улыбаясь, подошла своей плавной походкой к Пери. Она привлекла девушку к себе, обняла и поцеловала её в щёку. Потом взяла за руку и посадила против мужчин.

Гомуил исподлобья рассматривал Пери. Никогда он не видел её так близко. Староста в душе вынужден был согласиться, что красивее Пери нет в селе девушки, не зря его сын влюбился в неё. Но будь Эсеф немного умнее и практичнее, не стал бы он из-за красоты упускать состояние Нахума...

– Ну, что же, Гюзюргул, скажи им, зачем мы пришли, ведь вы, женщины, в таких делах красноречивее нас, мужчин, – проговорил с лукавой улыбкой Гомуил, посмотрев на жену.

– А чего тут говорить, – спокойно отозвалась Гюзюргул, обнимая Пери за плечи, – лучше налей стаканы, благослови брак этой красавицы с нашим сыном и делу конец.

Сосун принёс стаканы, поставил их на скатерть.

– В народе говорят: с женой советуйся, но поступай наоборот, – пошутил Гомуил, наливая вино в стаканы. – На этот раз я нарушу все

правила и охотно поступлю так, как желает моя покорная половина.

Мужчины подняли стаканы. Гюзюргул взяла руку Пери, старательно надела на её безымянный палец золотое обручальное кольцо, крепко прижала девушку к своей груди и поцеловала в голову. – Да будет благословен этот брак, – с торжественной взволнованностью произнесла она. – Пусть вместе с невестой придёт в наш дом радость и счастье, да чтобы царь смилостивился и отпустил на волю моего любимого сына Шолума.

– Аминь, – произнёс Гомуил, и все дружно чокнулись.

Гомуил вышел от Сосуна хмельной. Перед уходом он крепко пожал руку своему батраку, обнял, по примеру жены, девушку, поцеловал её в оба глаза и вложил ей в руку новенький золотой червонец.

Спустя две недели сонную утреннюю тишину, висевшую над селом, разбудили пронзительные весёлые звуки зурны и барабанная дробь. Друзья Эсефа ещё до прихода музыкантов подготовили в середине огромного двора старосты площадку для танцев, тщательно выровняли, утрамбовали её, посыпали мелкой соломой. В разных концах двора кейвони в новых шёлковых гянджинских платках, подаренных Гомуилом, варили в огромных медных кастрюлях на самодельных очагах свадебный суп. От него шёл вкусный аромат на всю улицу.

Народу на свадьбе собралось столько, что обширный двор старосты едва вмещал гостей.

После свадебного обеда в один фургон, запряжённый четвёркой лошадей, посадили жениха с его близкими товарищами и музыкантами, а в другой – невесту с её подругами – отправили на реку купаться перед венцом.

Гомуил приказал Илогу вывести из своей конюшни двадцать лошадей и раздать молодёжи для сопровождения свадебного поезда. В чёлки и гривы лошадей вплели яркие разноцветные ленты. По обычаю, всадники, сопровождающие жениха и невесту, устраивали на обратном пути скачки. На лбу лошади всадника, прискакавшего первым, торжественно разбивали сырое яйцо, а победителю вручали приз – шёлковый платок, вышитый руками невесты.

Раздав юношам лошадей, предусмотрительный Илогу оставил себе самого быстроходного пятнистого иноходца, чтобы обогнать других и получить приз.

Провожать нарядный свадебный поезд вышли на майдан не только гости, а и многие сельчане. Здесь же находился и специальный судья, который должен был вручить приз лучшему всаднику. Это был Севи.

После того, как под звуки торжественного марша и дружные крики «ура» молодые тронулись в путь, провожающие остались на майдане ожидать их возвращения.

Среди собравшихся сновали «серпои». Они

обязаны были угощать и развлекать людей. Держа в одной руке кубки с вином, а в другой – вертела с шашлыком, они подносили угощение сельчанам, отпуская в их адрес весёлые шутки и остроты.

Возвращения жениха и невесты ждали недолго. Не прошло и часа, как из-за леса, со стороны реки, донеслись звуки зурны и барабана. Первым скакал Илогу на пятнистом иноходце. Судья, держа в одной руке шёлковый платок, а в другой – яйцо, подошёл к мосту. Как только Илогу въехал на мост, Цыган старательно прицелился, чтобы не промахнуться, и с силой бросил яйцо. Оно с треском разбилось на лбу лошади. Испуганно отпрянув в сторону, иноходец встал на дыбы и протяжно заржал. Илогу вылетел из седла и под дружный хохот собравшихся упал в речку. Гуси, бродившие около воды со своими выводками, всполошились, громко загоготали. Хлопая крыльями и воинственно вытянув шеи, они набросились на не успевшего опомниться неудачливого наездника.

Обозлённые гуси щипали Илогу за нос, хватали за рыжую бороду, а он, лёжа на спине, отбивался от них, шлёпал по воде руками и ногами и кричал так, словно на него налетела шайка разбойников.

Цыган, стоя у перил моста, держал в вытянутой руке приз и с напускным недовольством кричал на Илогу:

– Долго мне тут стоять и сохнуть, пока ты

кончишь прохладиться и соизволишь подойти и получить свой приз?!

Шутка Севи вызвала новый взрыв смеха у нюгдинцев.

– Вы разве не видите, безбожники, ведь меня живьём съедают эти проклятые гуси! – кричал Илогу, продолжая шлёпать руками по воде, отбиваясь от разъяренных гусей.

В это время один за другим стали подъезжать остальные всадники, а вслед за ними показался и свадебный поезд.

Встречающие направились в дом к жениху, где продолжалось угощение, а невеста, по обычаю, уехала к себе домой.

Невесту, в сопровождении жениха, с песнями и музыкой, привели в дом старосты только вечером. Пери была одета в пышное тёмно-зеленое платье, её лицо прикрывал белый шелковый платок. Две девушки вели невесту под руки. Одна из подруг шла вслед за невестой с горящей лампой, другие – несли подушки, посуду и всё её нехитрое приданое.

Гомуил, как того требовал обычай, вышел встречать невесту первым. Он обеими руками приподнял платок с лица Пери, поцеловал её в лоб, затем девушкам, ведущим невесту под руки, дал по новенькому золотому червонцу. То же проделала и Гюзюргул.

– Шире круг! – раздался голос Илогу. – Сейчас невеста будет танцевать!

На танцевальную площадку ввели невесту.

Сначала с ней потанцевал жених, потом – Гомуил, его жёны, а за ними – ближайшие родственники. Затем староста, обняв Пери, крикнул собравшимся:

– Хватит мучить мою невестку, теперь танцуйте сами, без неё!

Когда Пери подвели к двери дома, кейвони Эвшег поднесла ей на блюдечке мёд, обмакнула в него палец невесты и помазала притолоку двери, чтобы жизнь Пери в этом доме была такой же сладкой, как мёд.

Пери ввели в специально отведённую для неё комнату на нижнем этаже, рядом с комнатой Гомуила. Перед тем, как войти к невесте, Эсеф, по обычаю, зашёл к отцу, опустился перед ним на колени, низко склонив голову.

– За все обиды, которые я тебе нанёс, прости меня, отец, – тихо произнёс юноша.

Староста, в знак прощения, подал сыну руку для поцелуя.

– Бог тебя простит, сынок, – сказал Гомуил. Взяв сына за плечи, он поднял его с колен и поцеловал в лоб.

Староста подошёл к нише в стене. Там стояли два стакана с водкой. В один из них он украдкой всыпал какой-то коричневый порошок, после чего, взяв оба стакана, повернулся к сыну.

– Прежде чем ты войдёшь к невесте, давай выпьем за её здоровье.

Гомуил с лукавой улыбкой посмотрел в зардевшееся от смущения лицо сына и протянул ему стакан, в который только что высыпал порошок.

Когда Эсеф, тяжело ступая по ковру, вошёл к Пери, она сидела на постели полуодетая. Он, как сквозь туман, уставился на невесту. На его лице блуждала пьяная бессмысленная улыбка. Жених что-то пробормотал заплетающимся языком и устало опустил перед девушкой. Положив отяжелевшую голову ей на колени, он тотчас же уснул мертвецким сном.

Г л а в а IV

КРОВАВЫЙ ПЛАТОК

Гомуил, проводив сына к невесте, сразу же вышел во двор. Он отыскал среди гостей старуху Эвшег, исполнявшую обязанности кейвони, и увёл её в комнату.

– Садись, уважаемая Эвшег, – любезно предложил староста кейвони, показав место на ковре подле себя.

Когда старуха села, староста пододвинулся к ней поближе и шёпотом, как будто боялся, что его услышат посторонние, сказал:

– Эвшег, ты должна выполнить одно моё поручение!

– Я всегда к твоим услугам, – с покорной готовностью ответила Эвшег, склонив по привычке на бок голову, повязанную новым платком, подаренным ей Гомуилом в честь свадьбы сына.

– Будь енге для жениха и невесты. Со стороны невесты енге не прислали. Её брат доверяет нам, а со стороны жениха енге будешь ты.

Старуха развела руками, и её лицо расплылось в добродушной улыбке.

– Я за свою жизнь столько раз была енге, что и не припомню. Почему же я не смогу услужить и твоему сыну? Только услуга за услугу. Не забудь подготовить для меня хороший бэхш

.

– Если ты согласна, за подарком дело не станет. Я тебе подарю не какой-нибудь платок, – сказал Гомуил, показывая на её голову, – я тебя озолочу!

Гомуил бросил настороженный взгляд на дверь, придвинулся к Эвшег вплотную и, обдавая старуху винным перегаром, торопливо зашептал ей на ухо:

– Вынесешь к гостям чистый платок и объявишь им...

Эвшег, много лет прожившая на свете и немало видевшая на своём веку, по одному намёку Гомуила, по его многозначительному взгляду сразу догадалась, что от неё хочет староста. И все же ей не верилось, что Гомуил решился на такое злодейство. Зачем ему понадобилось

опозорить ни в чём не повинную девушку? Может быть, он ошибся, поверив сплетникам? И другое: если, вопреки обычаю, жениху и невесте позволили без енге совершить гелин-гиёв, тогда зачем староста просит её, чтобы она стала енге для его сына? Потом, не такое простое дело – выйти к гостям с чистым платком, не убедившись лично в не целомудренности невесты. «Нет, не возьму я на свою душу такого великого греха», – решила старуха.

– Слушай, Гомуил, – тревожно прошептала Эвшег, бледнея. – Я не верю этому... Может, какой-нибудь злой человек завязал над женихом энгюл , поэтому...

Недовольно нахмутив брови, Гомуил перебил взволнованную Эвшег:

– Делай, как я говорю! Вынесешь чистый платок и скажешь гостям, что яблоко надкушено... Ты меня поняла?!

Эвшег испуганно выбросила вперёд руки, словно перед ней возникло страшное видение, вскочила и попятилась:

– Что ты, что ты, Гомуил, опомнись! – прерывающимся от волнения голосом проговорила она. – Я уже стара, одной ногой стою в могиле... Нет, не могу я пойти на такое злое дело... Побойся бога, староста, не губи невинную девушку! Ведь она сиротка...

Гомуил тоже встал. Он подошёл к старухе и, смерив её полным ненависти взглядом, глухо проговорил:

– Неволить не буду. Иди. Но если ты хоть одним словом обмолвишься о нашем разговоре... – Он судорожно сжал кулаки. – Пощады не будет! Я и тебя и твоих сыновей сживу со света! А теперь – убирайся!

– Хорошо, милый! Хорошо, дорогой! – испуганно пролепетала старуха и поспешно вышла из комнаты.

Гомуил в волнении ходил из угла в угол. Его раздражали звуки зурны, весёлые песни, голоса гостей, доносившиеся со двора. Вдруг дверь тихо скрипнула, и показалось улыбающееся лицо Илогу, успевшего изрядно выпить. Прикрыв за собой дверь, он подошёл к Гомуилу.

– Там пришёл ашуг, хочет петь об истории любви Керем и Асли, – весело проговорил он. Увидев, что староста чем-то расстроен, Илогу удивлённо спросил:

– Что-нибудь случилось?

Гомуил остановился, рассеянно посмотрел на Илогу. Постепенно он овладел собой, на его лице появилось подобие улыбки. «Дурак я старый, – мысленно выругал он себя, – связался с этой проклятой старухой. Как это раньше не пришло мне в голову поручить такое дело Илогу».

– Вот что, Илогу, – сказал Гомуил, положив свою тяжёлую руку на плечо приземистого Илогу, – ты будешь енге для новобрачных. Возьми платок!

Он достал из широкого кармана своего бешмета вчетверо сложенный платок и протянул его Илогу.

– Выйди сейчас же к гостям и объяви, что на платке Пери нет крови, она не девушка.

Илогу почти бессознательным движением взял платок, но продолжал стоять, удивлённо глядя на старосту.

– И ты отказываешься? – с угрозой спросил староста. Он грубо толкнул Илогу в плечо. – Не робей, иди и объяви о том, что я тебе сказал!

Илогу, спотыкаясь и поминутно оглядываясь, словно надеясь на то, что Гомуил одумается и отменит своё распоряжение, медленно вышел во двор. Он как в тумане видел сидящих на коврах веселившихся гостей, ашуга, стоявшего среди них с сазом в руках и звучным голосом певшего о пламенной любви Керема к нежной Асли. Вдруг Илогу взмахнул, точно флагом, белым платком, высоко подняв его над головой, и громко крикнул:

– Смотрите все сюда! Она не девушка, вот её платок!.. Смотрите все!..

Гостей, словно вихрем, подбросило. Все повскакали с мест. Оборвалась песня ашуга. Послышались выкрики, проклятия, плач испуганных детей. Гости столпились вокруг Илогу, а он, продолжая размахивать платком, освещённым ярко горящими факелами, кричал:

– Смотрите все!.. У невесты нет кровавого платка!..

Через несколько минут во дворе не осталось ни души. Гости, толкая друг друга, с шумом высыпали на улицу и увидели, как неподалёку, на широкой крыше сакли раби Нахума его дочь била палкой в медный таз и кричала на всё село:

– Эй, люди, выходите на зрелище! У дочери Шебетея нет кровавого платка!

Она, как ведьма на шабаше, кружилась в неистовом плясе, призывая народ полюбоваться на позор соперницы.

Услышав крики во дворе, Гомуил ворвался в комнату, где находились жених и невеста. Он грубо схватил Пери за руку и стащил её с постели.

– Шлюха, бесстыдница, – заорал он на девушку, – вон из моего дому!

Пьяный жених, сраженный снотворным зельем, лежал без чувств, не подавая признаков жизни. Девушка, дрожа всем телом, в ужасе подняла глаза на озверевшего старика. Ей показалось, что он сошёл с ума. Чьи-то руки подхватили невесту, выволокли её во двор на поругание бурлящей, полупьяной, разноголоной толпе. Откуда-то перед ней, словно из-под земли, вырос как символ безграничного позора и унижения чёрный ишак. Те же грубые и безжалостные руки подняли её и посадили на ишака.

– Музыканты! – раздался гневный голос Гомуила.

– Сыграйте ей «обратный марш».

Пери никак не может понять, что же вокруг неё происходит, почему так рассердился Гомуил, почему все эти люди шумят, за что предадут её проклятию, бросают в неё комьями грязи? Ей всё это кажется каким-то кошмаром, и она чувствует себя, как в тяжёлом запутанном сне, полном страха и ужасов, единственное спасение от которого – пробуждение. Но желанное пробуждение не наступает.

Словно издалека, она слышит чей-то злорадный голос, сопровождаемый ударами обо что-то гулкое.

– О, джамаат, все от мала до велика выходите полюбоваться на зрелище! Для дочери Шебетей играют «обратный марш»...

Где она слышала этот голос? Да это же голос Хонум. Ведь он ей давно знаком. Голова Пери всё ниже опускается на грудь. Она шатается и едва не падает с ишака, но кто-то поддерживает её и смеётся громко, противно. Какой-то внутренний голос подсказывает ей: «Кричи, что ты невинна, честна, что тебя оклеветали, клянись, божись, может быть, люди поверят». Но язык не повинуется ей. Где же Эсеф, её жених? Почему он не защищает её? Она уже видит, как брат, взбешенный её «недостойным поступком», замахивается на неё кинжалом. Пери больше ничего не хочет, ничего не ждёт. Она только, как в

полубреду, бессознательно шепчет, еле шевеля губами: «Бог мой, бог мой, пошли мне смерть, возьми скорее мою душу, бог мой, бог мой...»

... Когда приходили за невестой, Сосун проводил сестру до порога, попрощался с ней и вернулся в дом. На душе у него было радостно и немного грустно. Все его гости отправились вслед за невестой в дом жениха. Сейчас он сидел один, ожидая товарищей жениха. Они должны были придти к нему с платком. Для них уже был приготовлен подарок – зажаренный гусь и кувшин вина.

Он невольно вспомнил полные лишений и мук годы, прожитые в этом доме с сестрой после смерти отца, вспомнил, как лет пять-шесть назад, когда Пери было всего десять лет, она заболела какой-то тяжёлой болезнью. Девочка пылала, как в огне, бредила. А он, Сосун, ходил вокруг её постели, бил себя в грудь, плакал и молил: «Пусть ангел смерти Азраил, который пришёл за твоей душой, возьмёт мою душу. Пусть я умру, а ты живи, разве я пожалею себя?»

Суеверный подросток искренне верил, что если он так скажет, то Азраил, услышав его мольбу, изменит своё решение и вместо души сестры возьмёт его, Сосуна, душу...

В усталой, взбудораженной памяти Сосуна всплыли последние прощальные слова сестры, полные душевной боли и горячей любви к брату:

– Как же ты теперь один, без меня... Кто

разделит твоё одиночество, приготовит тебе поесть?

Сосуна из состояния раздумья вывели какие-то странные крики и неприятные, режущие слух звуки зурны и барабана. Эти звуки попеременно с криками людей приближались к его дому. Удивлённый Сосун вышел во двор и сразу же столкнулся со старухой Эвшег. Она тяжело дышала, словно за ней гнались. Увидев молодого человека, Эвшег упала к его ногам и взмолилась:

– Клянусь богом и памятью своих покойников, твоя сестра невинна. Её оклеветали... Это ей играют «обратный марш».

Сам не свой Сосун поднял старуху, посмотрел в её перепуганное, взволнованное лицо и выкрикнул:

– Рассказывай скорее, что случилось?

Старуха прерывающимся от волнения голосом, торопясь и запинаясь, рассказала Сосуну всё, что ей предлагал Гомуил. Сосун, выслушав сбивчивый рассказ старухи, бросился в комнату и выбежал оттуда с обнажённым кинжалом.

Он пробирался пустыми улицами, чтобы никто его не заметил, и через глинобитную ограду, окружавшую дом старосты, перелез в его опустевший двор.

Гомуил сидел в комнате один, спокойно покуривая свой кальян. Увидев Сосуна с

кинжалом в руке, он вздрогнул, побледнел, и кальян выпал у него изо рта.

– Что тебе здесь надо? – скрывая в голосе дрожь, строго спросил он Сосун.

– Где твой сын? – грозно произнёс Сосун, заслоняя своей широкой спиной дверь.

– Его нет дома, он убежал, не выдержал позора, – с притворным возмущением проговорил Гомуил.

– Старый пёс, настало время отомстить тебе за всё! – с удивительным спокойствием произнёс Сосун, наступая на него.

Гомуил, спасаясь от направленного на него кинжала, инстинктивно попятился, а затем вбежал в соседнюю комнату.

– Эсеф! – завопил он.

Сосун бросился вслед за ним, не дав Гомуилу закрыть за собой дверь. Увидев спящего жениха, Сосун схватил его за ворот рубахи и с силой приподнял. Голова Эсефа беспомощно болталась из стороны в сторону, из стеснённой груди вырывались слабые глухие звуки, похожие на стон.

– Он пьян, без сознания, не трогай его, – взмолился староста, забиваясь от страха в угол.

Сосун швырнул Эсефа на смятую постель и взмахнул кинжалом. В тот же миг Гомуил с безумным криком бросился на сына, прикрыв его своим телом, и дико заревел, обливаясь кровью...

СТРАННЫЙ РАЗБОЙНИК

В одном километре от Нюгди (Мюшгюр) расположено небольшое селение Молла-Халил, где издавна живут азербайджанцы и лезгины. На окраине селения возвышается старинная армянская церковь, за которой простирается обширная зелёная поляна. Церковь стоит у глубокого канала, по дну которого, тихо журча, течёт ручеек. Чтобы попасть в церковь, надо перейти канал по узкому железному мостику с кружевными железными перилами. Видимо, мостик был построен руками тех же неизвестных мастеров, которые возвели в своё время и церковь. Кроме церкви, ни в самом Молле-Халиле, ни поблизости от селения нет никаких древних построек, которые напоминали бы о пребывании здесь в прошлом армян. Но южнее, примерно в трёх-четырёх километрах от села, в районе «Семи родников», находится большое армянское кладбище, окружённое с трёх сторон вековым лесом. На кладбище сохранились надгробные камни с высеченными на них армянскими письменами. Два раза в год – весной и осенью по краям древних могил густо разрастаются какие-то широколистные травы. Возможно, когда-то здесь высаживались цветы, которые потом одичали.

В начале первой четверти нашего века церковь в Молле-Халиле и кладбище в районе «Семи родников» были местами паломничества многих армян, живущих в древнем Дербенте. Набожный армянин Пагос почти ежегодно приезжал сюда с женой и двумя детьми. Средством передвижения служила ему собственная арба. Семья Пагоса обычно приезжала весной или в начале лета и разбивала возле церкви на краю поляны шатёр. Здесь же на костре варили пищу. Два дня семья Пагоса жила на свежем воздухе, под стенами старинной церкви. Паломники молились, ходили на армянское кладбище, а после выполнения религиозных обрядов возвращались домой в Дербент.

Местное население – таты, азербайджанцы и лезгины относились к паломникам-армянам приветливо, но в гости к себе приглашали редко. Причиной этому являлось то, что армяне ели свинину. Поэтому паломники, как правило, приезжали с собственной провизией. Они привозили с собой живых баранов, бурдюки с вином. Теплым майским днем Пагос с семьей ехал в Молла-Халил, чтобы посетить армянский пир. Безмятежную тишину весеннего дня нарушал только равномерный перестук колёс. Иногда лёгкая зыбь пробегала по поверхности зеленеющей пшеницы, и тогда поле казалось огромным озером. За полями пёстрым ковром расстилались луга. Справа от дороги сплошной

стеной стоял вековой лес. На фоне зелёного леса чётко вырисовывались цветущие кусты тёрна, дикой алычи, молодые деревца груши и вишни. Казалось, что белоснежная гряда облаков спустилась с небесной высоты и застыла в немом безмолвии на кронах кустарников.

Лошадью правил сам Пагос, человек лет пятидесяти, с крупными чертами добродушного лица. Он удобно устроился на передке арбы, держа в одной руке вожжи, а в другой – кнут из бычьей жилы. Несмотря на припекавшее солнце, Пагос, ради торжественного выезда на моление, надел чёрный сюртук. Спинай к нему сидела жена. Дочь Пагоса, белолицая, чернобровая девушка лет восемнадцати с чёрными косами, свисающими с плеч, пристроилась возле матери, облокотившись на туго набитый мешок, на котором сидел её брат, подросток лет шестнадцати в форме гимназиста. Девушку восхищало всё, что её окружало: и чистое небо с маленькими пушистыми облаками, и цветущие деревья, и соловьиные переклички, доносившиеся из леса.

В то время, когда семья Пагоса ехала на богомолье, Сосун брёл по лесу, через который пролежала дорога в Ньюди. Под его ногами шуршали жухлые перепревшие прошлогодние листья, с сухим треском ломались тонкие ветки. В правой руке он держал старое двухствольное ружьё, на поясе висел кинжал в деревянных

ножнах без кожуха. Черкеска в нескольких местах порвана, брюки, затянутые снизу портянками из домотканой бязи, в заплатках.

Восемь месяцев прошло с того дня, как он, тяжело ранив старосту, убежал из родного селения и скрывался от преследования. Сосун думал, что он наверняка прикончил ненавистного Гомуила. Но староста выжил, хотя рана, нанесённая Сосуном, не прошла бесследно: Гомуил ходил с искривлённой шеей, одно плечо опущено, как простреленное крыло ворона, голова дёргалась. Говорят, что он сильно постарел. Его короткая густая борода поседела. Но зато Гомуилу удалось добиться своего: выгнав с позором Пери, он заставил сына жениться на дочери раби.

Оправившись от тяжёлой раны, Гомуил ещё больше приблизил к себе Илогу, назначил его надсмотрщиком за батраками и своим личным телохранителем, освободив от других «общественных обязанностей». У себя во дворе он отвёл Илогу небольшой флигелёк. Вместо одной дворовой собаки Гомуил завёл двух лохматых волкодавов, которых по ночам спускал с цепи. Перед окружным начальством Гомуил изобразил своё ранение, как покушение на его жизнь за то, что он является ревностным исполнителем воли властей в родном селе. Гомуилу и его подручному Илогу выдали для самозащиты боевую винтовку и по одному револьверу на каж-

дого с солидным запасом патронов. Староста и Илогу теперь не выходили со двора без оружия. И всюду Илогу, как верный пёс, сопровождал Гомуила.

По просьбе Гомуила окружное начальство раза три посылало в Нюгди несколько вооружённых полицейских, которые появлялись в селении неожиданно. Каждый раз, когда приезжали полицейские, староста обильно угощал их и щедро одаривал, обещая, что он не покусится на награду, если они выследят и схватят «злодея и бунтовщика» Сосуна. Полицейские, как голодные гончие, раздражённые запахом свежего мяса, усиленно рыскали повсюду, но поймать Сосуна им не удавалось. Стоило в селе появиться полицейским, как сельчане сразу же предупреждали Сосуна через сестру о грозящей опасности, помогая ему вовремя надёжно укрыться.

Гомуил жаждал мести. Боялся он и внезапной расправы со стороны «разбойника» Сосуна. Поэтому староста стремился любыми путями избавиться от опасного для него человека.

Встревоженный безрезультатными поисками Сосуна, Гомуил часто видел сны, полные ужасов. Нередко ему снилось: Сосун, Рахмон, Севи (Цыган) и другие голодранцы поджигают его дом, посевают, стреляют в него, рубят кинжалами. И тогда на весь дом раздавался крик Гомуила. Просыпался он в холодном поту и с

тревожным волнением шарил рукой по постели, чтобы удостовериться: цел ли он, не барахтается ли в луже крови?

С горечью и сожалением думал он о том, что, наверное, безвозвратно уходят те счастливые времена, когда богатые, облечённые доверием властей, спокойно наслаждались жизнью. А теперь? Всего каких-нибудь два-три месяца назад в столичном городе Петрограде бунтовщики опрокинули, казалось, неприступный, как скала, трон русского царя. Ни острые шашки храбрых казаков, ни гранёные штыки солдат не смогли оградить царский трон от натиска взбунтовавшейся «черни». Правда, к счастью, после свержения царя ничего не изменилось, сохранились те же порядки в округе и в городе, да и начальство осталось прежнее. Наверное, в этом Временном правительстве, о котором рассказывали Гомуилу, сидят порядочные люди.

Но дух непокорности, как зараза, всё больше распространяется среди бедноты. Даже здесь, в глухом, богом проклятом и забытом Ньюгди, где люди жили, как рыба в мутной воде, ничего не видели, ничего не понимали, всё странным образом меняется. Люди как будто бы перерождаются, ждут каких-то перемен. Взять хотя бы каторжника Рахмона. Он по-прежнему живёт беднее многих, не облечён никакой властью, а пользуется большим авторитетом и даже затмил авторитет его, Гомуила – богача и

старосты. На майдане односельчане всегда собираются вокруг Рахмона, жадно слушают его рассказы, а от него, старосты, отворачиваются, а некоторые даже осмеливаются бросать косые взгляды. В их глазах теперь уже не покорность, а ненависть. Они как бы предупреждают: погоди, доберёмся мы и до тебя.

Преступника Рахмона сельчане теперь считают чуть ли не героем, как будто он совершил подвиг, поджигая скирды. А его Георгиевский крест и знание русского языка, которого не знает даже староста, окончательно вскружили всем головы.

Дошло до того, что голодранцы стали зариться на землю старосты, на его скот, каждый в душе ненавидит его за то, что он живёт в достатке, за то, что выгнал из села головореза Сосуна.

В минуты тяжких сомнений староста стал подумывать о том, не перебраться ли ему с семьёй в город, пока всё не утрясётся и не станет на свои места, а домоуправителем оставить Илогу? Но эту мысль Гомуил тотчас же отгонял от себя. Он привык не только к богатству, но и к почёту, который даёт ему должность старосты. Переехать в город, хотя бы даже временно, значит потерять должность. Да и нюгдинцы без него заживо съедят Илогу, и этот трус сразу же сбежит, спасая свою голову.

...Первые дни после бегства из родного села

Сосун, скрываясь от полицейских, прятался в доме лезгина Гасана, у которого среди нюгдинцев было много друзей-кунаков. Когда миновала первая угроза, Гасан проводил беглеца на кутан, расположенный в пойме реки Гюльгерычай. Среди чабанов были его сын и два племянника. Лезгины надёжно укрыли Сосуна, кормили его, устраивали на ночлег в своих землянках, подарили ему старое ружьё и снабжали патронами.

Сосун часто бродил с ружьём по родным лесам и полям. Он тосковал по дому, друзьям-односельчанам. Иногда, увидев знакомых сельчан, работающих в поле, где-нибудь вдали от проезжей дороги, он осторожно выходил из лесу и работал вместе с ними, отводил душу в разговорах с друзьями. Время от времени глубокой ночью Сосун пробирался в селение, чтобы навестить одинокую сестру, судьба которой его больше всего беспокоила: небольшой запас зерна и муки, оставленный им дома, кончался. Единственную корову, которую когда-то подарил им староста, он отобрал. Все эти восемь месяцев Сосун не работал, не пахал, не сеял. Скоро наступит время, когда сестра останется без хлеба и без денег. А тут ещё Илогу требует, чтобы Пери внесла в казну подушный налог. Где взять денег?

Невесёлые думы одолевали в этот погожий майский день юношу. Не зная, что предпринять, он, закинув за плечо ружьё, брёл без вся-

кой цели по лесу. Вдруг он услышал скрип колёс арбы. Сосун насторожился. Притаившись за толстым стволом старой раскидистой чинары, росшей в нескольких шагах от дороги, он стал прислушиваться. До него донеслись обрывки разговора, короткий смех. Люди, ехавшие на арбе, говорили на непонятном ему языке.

Подпустив паломников на пять-шесть шагов, Сосун неожиданно, точно из-под земли, вырос перед ними. Направив на Пагоса ружьё, он окриком приказал ему остановиться.

Испуганный, побледневший Пагос со всей силой дёрнул на себя вожжи, и уставшая рыжая лошадка сразу же остановилась, помахивая головой, словно кланялась разбойнику. Дочь Пагоса, увидев разбойника в папахе, с ружьём, направленным на отца, издала пронзительный крик и, закрыв лицо руками, упала в полуобморочном состоянии на грудь матери. Не растерялся только мальчик. Он проворно запустил руку под мешок и хотел достать спрятанный там пистолет, но отец, догадавшись о его намерении, обернулся и сердито крикнул:

– Вардан, не смей, щенок!

– Не надо, сынок, заклиная тебя всеми святыми, – с дрожью в голосе произнесла мать, обнимая испуганную дочь.

– Что тебе от нас, мирных паломников, нужно? – с достоинством спросил Пагос, стараясь казаться спокойным.

– Денег, сколько можешь! – ответил Сосун, сердито сдвинув брови.

– Отдай, папа, отдай! – взмолилась дочь Пагоса, услышав требовательный голос разбойника.

Мальчик, сдвинув, чёрные, тонкие, как у сестры, брови и сердито поджав бледные губы, с нескрываемой ненавистью и презрением смело смотрел на Сосуна.

Пагос, вынув из кармана кошелёк, кинул Сосуну, который ловко поймал его на лету.

– Только дай слово мужчины, – прерывистым от волнения голосом произнёс Пагос, – что ты не причинишь нам никакого зла, когда мы будем возвращаться.

Сосун, даже не разглядывая содержимое кошелька, поспешно сунул его в карман и спокойно оглядел паломников. Его хмурые брови расправились, а губы слегка тронула улыбка.

– Клянусь! Больше я вас беспокоить не буду, – коротко произнёс он и отвернулся.

Через три дня семья Пагоса возвращалась с богомолья. Неожиданно из лесу вышел тот же самый разбойник. На этот раз ружьё у него висело за плечом дулом вниз. Пагос, его жена и дети с недоумением и страхом смотрели на Сосуна, ожидая от грабителя и насильника, каким рисовало его их воображение, нового подвоха. Вардан насторожился. Он решил, что никого не будет слушаться, если разбойник пристанет с

новым требованием, а выпустит в него все пули из пистолета, который теперь лежал у него за пазухой. Вардан в напряжённом ожидании не сводил с разбойника подозрительного и откровенно ненавидящего взгляда. Сосун сделал вид, что не замечает недоброжелательного отношения со стороны мальчика. Остальные паломники, увидев добродушную улыбку на смуглом до черноты лице разбойника и то, что ружьём он не угрожал, несколько успокоились.

– Добрый день, дядя Пагос, – приветливо, как доброму знакомому, кивнул головой Сосун, шагая рядом с подводой. Заметив недоверчивое выражение на их лицах, тихо, добавил: – Не бойтесь, я никакого вреда вам не сделаю.

– День добрый, – с трудом выдавил Пагос, с опаской косясь на Сосуна.

Сосун, опустив голову, шёл молча, молчали и паломники, исподлобья разглядывая разбойника.

Но вот кончился лес, и паломники выехали на открытое поле, местами заросшее редким кустарником. Неожиданно из придорожного куста выскочил заяц. Он на какую-то долю секунды прижался к земле, оглянувшись на людей и двигая длинными ушами, а потом стремительно помчался. На минуту все невольно устремили взгляд на зверюшку. Сосун в одно мгновение сорвал ружьё с плеча и прицелился. Раздался оглушительный выстрел. Заяц

подпрыгнул, упал боком на землю и забился в предсмертных судорогах. Сосун с сияющим лицом побежал за добычей. Схватив за задние ноги уже бездыханного зайца, он бегом догнал арбу и положил убитого зайца у ног мальчика. Его сестра, с любопытством и жалостью на миловидном лице, осторожно провела нежной ладонью по мягкой тёплой шерсти зайца, который лежал, как живой, с открытыми красными круглыми, как пуговики, глазами. Девушка посмотрела на Сосуна и робко улыбнулась. Эта улыбка придала Сосуну смелости.

– Дядя Пагос, ты на меня обижаешься? – спросил Сосун. Он хотел что-то ещё сказать, но густо покраснел, запнувшись на полуслове.

– Что ты, что ты, сынок, – с деланным великодушием произнёс Пагос, растянув толстые губы в учтивой улыбке. – У меня в городе собственный дом, виноградник. А у тебя, наверно, нет ничего. Эти деньги я тебе дал как пишкеш. Они тебе нужнее, чем мне.

Сосун опустил голову и смущённо улыбнулся.

– Ты прав, дядя Пагос, они мне очень нужны... Иначе разве бы я стал... – Он опять недоговорил, махнув рукой.

Жена Пагоса, особенно дети, стали прислушиваться к разговору отца с разбойником. Таты-нюгдинцы, так же, как и армяне, жившие в Дербенте среди азербайджанцев, хорошо зна-

ли азербайджанский язык, на котором Пагос и разговаривал с Сосуном. Чувствуя на себе любопытный, но всё ещё подозрительный взгляд девушки, Сосун обернулся к ней.

– У меня дома есть сестра, такая же, как ты. Ее зовут Пери, – с теплотой в голосе сказал он.

– А тебя как зовут? – несколько осмелев, спросила девушка.

Сосун молча отвёл глаза в сторону.

– Ах, прости! Тебе же нельзя называть своего имени! – как бы извиняясь, сказала она, и ироническая улыбка едва тронула её алые губы.

Трудно было понять: говорит ли она это с осуждением или с сочувствием. Сосун покраснел и смутился. Его отказ назвать своё имя девушка могла расценить как трусость. И он сказал, как его зовут.

Услышав его имя, девушка звонко расхохоталась. Сосун покраснел еще больше и нахмурился. Ему показалось, что девушка смеётся над ним, над его именем. Мать, посмотрев, как изменилось лицо разбойника, забеспокоилась. Она тронула рукой плечо девушки и что-то с тревогой в голосе сказала ей по-армянски.

– Сестра смеётся потому, что у тебя с ней почти одинаковое имя, – включился в разговор Вардан. Он уже без неприязни смотрел на Сосуна.

Сосун не поверил. Они, люди разного пола,

народности, религии. Как же могут быть одинаковые имена? У татов никогда не совпадают имена мужчины и женщины.

– Да, да, не удивляйся, – как бы угадав мысли Сосуна, произнесла дочь Пагоса. – Меня зовут Сусанна, а тебя Сосун.

Сосун удивлённо пожал плечами и улыбнулся. Время от времени Сосун оборачивался, хватался за ружьё, настороженно осматривался по сторонам, но продолжал ещё идти за подвой, взяв на себя добровольную миссию проводить паломников.

Пагос краем уха прислушивался к тому, о чём говорили молодые люди, и ослабил вожжи. Лошадь, почувствовав это, замедлила шаг и жадно потянулась к сочной траве, росшей на обочине дороги. В этот момент левое заднее колесо арбы зацепилось за придорожный пенёк, и арба остановилась. Пагос натянул вожжи, пытаясь подать лошадь назад и высвободить колесо, но лошадь заупрямилась. Недовольно мотая головой, она не шла ни взад, ни вперёд. Тогда к арбе подбежал Сосун, приподнял её за задок и осторожно опустил на дорогу. Сидящие на арбе с удивлением посмотрели на запыхавшегося Сосуна.

– Какой же ты сильный! – с восхищением воскликнула Сусанна, а потом в виде шуточного упрёка добавила: – Имея в руках такую силу, ты не работаешь, а занимаешься разбоем.

Хотя это было сказано мягко, с улыбкой, но от этих слов лицо Сосуна залила краска стыда. Да и Пагос рассердился на Сусанну за неуместную шутку.

– Сусанна, не болтай глупостей! – прикрикнул на неё отец.

– Нет, дядя Пагос, она права, – упавшим голосом проговорил Сосун. – Не ругайте её.

Потом, глядя на девушку, доверительно сказал:

– Прошло восемь месяцев, как я убежал из родного селения. Если я вернусь – меня арестуют...

И Сосун рассказал паломникам историю своего бегства.

После рассказа, который потряс всех, «разбойник» предстал перед семейством Пагоса совершенно в другом свете. Гнусный поступок старосты возмутил их. Сосун из злодея в их глазах превратился в жертву злого человека. Вардан, взволнованный рассказом Сосуна, не мог спокойно сидеть на месте. Он слез с арбы и пошёл рядом с Сосуном, дружелюбно и с сочувствием посматривая на него. Спустя несколько минут примеру брата последовала и сестра. Взволнованная рассказом недавнего разбойника, она сняла с шеи небольшой золотой медальон с цепочкой и торопливо сунула его в грубую, заскорузлую руку Сосуна, крепко сжав её в своей руке.

– Ты добрый и храбрый брат, – растроганно произнесла она. – Я прошу, возьми этот медальон в подарок своей сестре.

Сосун смущённо посмотрел на девушку и отрицательно мотнул головой.

– Бери, бери, Сосун, – с чистосердечной искренностью сказал и Вардан.

Сосуна до глубины души тронуло сочувствие этих почти не знакомых людей к нему, к его горю. Ему нестерпимо стало стыдно за свой недавний поступок. От волнения он не смог выговорить ни слова. Сосун прибавил шаг, нагоняя арбу. Вынув из кармана кошелёк, он кинул его на колени Пагосу, и, не глядя ни на кого, быстро скрылся в лесу...

Г л а в а VI

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Пери сидела дома у горящего очага, сиротливо склонив голову на колени. Вечерело. Осенние сумерки, сгущаясь, окутывали комнату. Огонь отбрасывал на похудевшее и побледневшее лицо Пери красноватые отсветы. В комнате, как в погребѣ, стояла глухая тишина. Лишь изредка с улицы доносились лай собаки, тоскливое мычание коровы с соседнего двора, голоса людей.

Пери смотрела в огонь, а её думы витали далеко за стенами родного дома. Прошёл год с того страшного вечера, когда Гомуил с позором отправил её на ишаке в дом брата под пьяные выкрики и улюлюканье одураченной толпы. Всё, что она пережила, казалось ей каким-то наваждением, ужасным сном. Кошмарная картина того вечера со всеми подробностями вновь и вновь всплывала перед её затуманенным взором. Перед глазами возникало бородастое лицо Гомуила с выпуклыми, налитыми кровью свирепыми глазами, с ненавистью устремлёнными на неё. В ушах Пери раздавались оскорбляющие её девичью честь и достоинство гнусные слова старосты, вспоминалась вся позорная церемония под глумливые звуки «обратного марша».

Ни в чём не повинная девушка добровольно заключила себя, как в тюрьме, в четырёх стенах дома, стесняясь показываться на людях. Её волновала судьба брата, который вырастил её, заменив отца и мать, и за неё же пострадал.

Отчаяние охватило Пери, когда она узнала о женитьбе Эсефа на дочери раби Нахума. Казалось, что не стоило больше жить. В своём несчастье она обвиняла только злую, ненавистную ей соперницу Хонум. На другой же день, после того как Пери оклеветали и разлучили с Эсефом, торжествующая Хонум стала распускать слухи о её недостойном для девушки поведении. Встречаясь с женщинами у родника,

на майдане, Хонум, не стесняясь в выражениях, возводила наветы на Пери, старалась очернить её перед всем селом, уверяя каждого, что будто бы всё рассказанное ею она видела собственными глазами. Хонум мстила за пережитые муки ревности, за перенесённое унижение, за скрыто пролитые слёзы.

Придавленная горем Пери не выходила даже за калитку своего двора. Она не хотела ни с кем встречаться, особенно с Хонум, грязные сплетни которой неотступно преследовали её. Даже за водой Пери ходила по вечерам, когда у родника никого не бывает, или на рассвете, когда все ещё спят.

Ей казалось, что если бы не Хонум, то, может быть, не было всех этих несчастий. Пери мучила мысль, почему её жених Эсеф поверил гнусному обману, подчинился отцу, женившись на Хонум, которую презирал и ненавидел. Вспомнились и летние прогулки с Эсефом, когда они забирались в кусты тёрна, укрытые со всех сторон ежевикой, и он, обнимая её, клялся в вечной любви... Пери верила ему, потому что сама любила. Горько было думать, что самый любимый человек обманул, изменил. Можно ли после этого верить людям? Нередко про себя Пери проклинала Эсефа, молила бога послать ему смерть, а потом сама же пугалась, что может накликать беду на любимого, и поспешно, словно в бреду, обращалась к богу, чтобы он

простил Эсефа, отвратил от него все беды и несчастья.

Рыжая, длинноносая и бледнолицая Хонум, став женой Эсефа, точно одурела от счастья. Иногда, возвращаясь с родника с кувшином за спиной, она нарочно задерживалась у ворот Пери, выкрикивала по её адресу ругательства, неестественно громко смеялась, чтобы вконец извести свою бывшую соперницу.

Хорошо, что после ухода Сосуна в лес в доме остались два кенду с мукой. У неё есть ещё свой хлеб, и она может никуда не ходить, чтобы не печалить друзей и не радовать врагов.

Часто вечером Пери навещали тётя Майрам, жена Рахмона, и старушка Эвшег. Они подолгу засиживались у неё, подбадривали, рассказывали о Сосуне, когда узнавали о нём что-нибудь новое от своих сыновей и мужей.

Сегодня рано утром Пери, взяв кувшин, пошла к роднику за водой. Было ещё темно, холодно и туманно. Как только Пери вышла из калитки, ей показалось, что какая-то тень метнулась в сторону и спряталась за чёрным плетёным забором соседа. Она вздрогнула. Кто это? Может быть, Сосун? Да нет. Если иногда он и пробирался домой, то только глубокой ночью, а на рассвете тайком уходил в лес. Кто же это мог быть? В сердце закрался страх, по телу пробежала дрожь. А может быть, ей показалось?

Не хотелось возвращаться домой с пустым кувшином, это считалось плохой приметой. Да и в доме не было ни капли воды, а днём она не решилась бы пойти к роднику.

«Наверное, это Илогу», – подумала Пери. Несколько раз в это же время по утрам она видела, как приспешник Гомуила прячется за углом, выслеживая Сосуна. Мысль о том, что негодяй Илогу охотится за её братом, вызвала новый прилив гнева у девушки. Она плюнула в ту сторону, куда метнулась тень, и сердито проговорила:

– Тьфу, собака, чтобы провалиться тебе сквозь землю!

Пройдя по безлюдным и безмолвным улицам селения, Пери вышла на окраину, спустилась по тропке в овраг, к роднику. Прозрачная вода тихо струилась из-под скалы и, журча, скрывалась в ближних кустах. От родника тянуло холодком. В кустах пели птички, прыгая с ветки на ветку.

Наполнив кувшин водой, Пери поставила его на землю и продела верёвку через отверстие ручки. В это время неожиданно из-за кустов появилась высокая фигура Эсефа. Пери, увидев его, выпустила из рук верёвку и поспешно отвернулась, прикрыв лицо краем платка. Эсеф подошёл к девушке.

– Пери, прошу тебя, выслушай меня. Я хочу тебе кое-что сказать... – дрогнувшим от волнения голосом произнёс он.

Пери молчала. Сердце бешено колотилось, словно хотело выскочить из груди. Её охватила острая ненависть к Эсефу.

– Пойми, Пери, после того, что случилось, моё сердце не знает покоя, я не нахожу себе места, мои глаза отвыкли от сна, – заговорил Эсеф прерывающимся голосом. – Я часто на рассвете хожу возле твоего дома, чтобы услышать твои шаги, взглянуть на твоё лицо... Во всём виноват мой отец, жестокий и бессердечный человек... Теперь я знаю, почему отец оклеветал тебя... Я ненавижу свою жену, проклиная отца... Прости меня, ради бога... Давай убежим в город... Мне не надо ни отцовского богатства, ни его имени. Я люблю только тебя!..

Последние слова Эсефа, произнесённые сквозь слёзы, прозвучали, как рыдание.

Девушка чуть повернула голову, исподлобья бросила взгляд на Эсефа и тотчас же опустила глаза. Лицо у Эсефа было бледное, осунувшееся, как у человека, перенесшего тяжёлое заболевание, карие, всегда весёлые глаза, стали грустными, они словно угасли. Ненависть в её сердце в одно мгновение сменилась жалостью и нежностью к этому человеку. К горлу подступили слёзы.

Она хотела бросить ему в лицо всё, что кипело у неё на душе, сказать, что её сердце уже разбито, а разбитого не склеить. Но Пери не

могла вымолвить ни слова, она боялась, что как только заговорит, тут же разрыдается, выдаст себя. А к чему всё это? Всё равно прошлого не вернуть!

Пери крепко сжала губы. Она вскинула мокрый кувшин за плечо и молча прошла мимо растерянного Эсефа, не глядя на него.

– Пери, неужели в твоём сердце не осталось любви для меня? – спросил Эсеф, шагая вслед за Пери. – Разве ты не видишь, как я страдаю? Да и ты тоже... Разве я слепой, не вижу? Умоляю тебя, уедем отсюда, моя любимая!..

Слова Эсефа терзали исстрадавшуюся душу бедной девушки, ранили и без того израненное сердце. Она не в силах была слышать голос Эсефа. Ей хотелось закрыть глаза, заткнуть уши и бежать без оглядки, бежать от самой себя, чтобы не показать свою слабость. Ещё немного, и она не выдержит этой пытки, жестокой борьбы с собой, сбросит с плеча кувшин, упадёт в объятия любимого, прильнёт пылающей головой к его груди и даст волю накопившимся слезам...

Сердце глухо билось в её груди, ноги подкашивались, кувшин почему-то стал непосильно тяжёлым, руки едва удерживали его за верёвку. И всё же ей удалось выдержать эту пытку. Ускорив шаг, она бежала, не разбирая дороги.

– Пери, Пери, не покидай меня! – с горечью в голосе кричал ей вслед Эсеф, шатаясь, точно смертельно раненный человек.

Слова Эсефа настигали её, как пули, и она бежала от них, чтобы не быть окончательно сражённой. От быстрой ходьбы кувшин болтался за спиной, вода выплёскивалась из горлышка, заливала ей шею, спину, но она ничего не чувствовала. Лишь, когда она, запыхавшись, вбежала в свою комнату и поставила кувшин у дверей, дала волю слезам: упав ничком на голую землю, Пери затряслась в громком судорожном плаче.

Сейчас Пери, сидя у очага, вспоминала всё происшедшее за день. Из горестных раздумий её вывел чей-то робкий стук в дверь.

– Кто там? – усталым голосом спросила Пери, не вставая с места.

– Это я, Мелке, – послышался тихий голос.

Пери отодвинула засов, открыла дверь и выпустила в комнату Мелке, смуглую круглолицую девушку, которой на вид было лет пятнадцать-шестнадцать. Пери пригласила гостью сесть рядом с собой у очага. Опустившись на пол, покрытый рваным паласом, Мелке вытащила из-под старенького шерстяного платка клочок шерсти и веретено и ласково посмотрела на Пери. Глаза у неё были чёрные, обрамлённые короткими густыми ресницами, и смотрели они на человека приветливо, с лёгкой доброй усмешкой.

– Да сохранит бог твоего единственного брата... Дай мне, пожалуйста, какую-нибудь

чашку или горшок, – обратилась она к Пери.

Пери встала, сняла с полки тёмную чашку и поставила перед Мелке. Та сразу принялась крутить в ней веретено, наматывая на него нитку. Тишину нарушало только однообразное жужжание веретена.

– Что нового, Пери? – тихо спросила Мелке хозяйку, поднимая на неё глаза.

– Ничего особенного, – устало ответила Пери, склонив голову.

Девушки глубоко вздохнули. Каждая думала о своём.

Мелке была второй дочерью старика Дона. Девушка втайне была влюблена в Сосуна. Она тяжело переживала горе его сестры, но ещё больше страдала от того, что Сосун вынужден скрываться, что его в любое время могут схватить, заключить в тюрьму, и Мелке надолго, а может быть и навсегда, будет лишена радости увидеть любимого. Но она не была наречённой Сосуна. Поэтому девушка, стесняясь людей, не позволяла себе часто бывать у Пери, интересоваться судьбой Сосуна. Это могло вызвать пересуды, сплетни, будто она, Мелке, сама навязывается парню, вешается ему на шею. Такие разговоры могли бы бросить тень на её доброе имя и на честь родителей. Она хорошо усвоила, что девушка должна соразмерять каждый свой шаг со строгими правилами и требованиями родной среды, чтобы не быть отвергнутой.

Мелке в душе уверяла себя, что Сосун тоже к ней неравнодушен. Не случись с ним несчастья, он наверняка засватал бы её и теперь она была бы его женой, хозяйкой в этом доме.

Ей вспомнился май прошлого года. Она с отцом пошла на прополку пшеницы. Их поле плотной зелёной стеной окружали деревья, над головой голубело солнечное небо. Стояла чуткая тишина, только где-то в высоте лилась звонкая песня жаворонка. Работалось легко. Вооружившись длинным ножом, Мелке с корнем срезала сорняки.

Старик, почувствовав лёгкий озноб – приближение очередного приступа лихорадки – пошёл к лесу, прилёг на траву и укрылся овчинным тулупом.

Мелке, увлечённая работой, ничего не замечала. Вдруг она услышала лёгкие шаги. Подняв голову, Мелке увидела Сосуна, неожиданно появившегося из лесу. Он, улыбаясь, шёл прямо к ней. До этой встречи они никогда не разговаривали друг с другом. Мелке знала, что Сосун, несмотря на свою молодость, очень сдержан, даже суров. Таким его сделала жизнь, слишком рано возложившая на него заботы взрослого человека. Он редко с кем дружил из своих сверстников, ни от одной девушки Мелке не слышала, чтобы Сосун за кем-нибудь ухаживал, хотя многие девушки, об этом Мелке хорошо знала, тайно вздыхали по нём.

– Мелке, хочешь я покажу тебе одну вещь?
– спросил её Сосун, подходя к ней запросто, с какой-то мальчишеской непосредственностью.

– Покажи! – с готовностью ответила Мелке, улыбаясь.

Сосун отошёл к опушке леса и остановился. Он молча глядел на девушку, словно звал её взглядом. Мелке, воткнув нож в землю, смело пошла к нему. Когда девушка приблизилась, Сосун, указав на один из ближних кустов, приложил палец к губам, призывая к молчанию. Опустившись на четвереньки, он осторожно приблизился к кусту. Вдруг оттуда, сухо хлопая крыльями, вылетел фазан в ярком оперении и с длинным, как шлейф, разноцветным хвостом. Сосун раздвинул ветки и показал Мелке гнездо фазана с крохотными цыплятами. Гнездо так искусно было скрыто в середине куста, что его трудно было обнаружить.

Сосун нагнулся, взял из гнезда одного птенца. Подержал на ладони этот пискливый комочек с желтоватым пушком, полюбовался им, а потом отдал его Мелке.

– Я давно заприметил это гнездо, – сказал он, глядя то на покрасневшееся лицо девушки, то на цыплёнка, – но ждал, когда выведутся птенцы. Хочу забрать фазана вместе с его выводком. Может быть, удастся приручить. Только вот фазан никак в руки не даётся.

Сосун вздохнул, неловко улыбаясь. Потом

взял с ладони Мелке цыплёнка и осторожно положил его в гнездо.

Несколько минут они простояли молча, не зная, о чём говорить. Сосун давно искал повода или случая для серьёзного разговора с Мелке. А вот сейчас, когда этот случай представился, он не находил нужных слов. Насколько этот молодой коренастый батрак был упорен и расторопен в работе, настолько он был робок с девушками.

– Почему ты не навещаешь Пери? – наконец тихо проговорил он и тут же покраснел от смущения.

– Мы с ней не подруги, а приходиться просто так неудобно, – откровенно призналась девушка.

– Но ведь вы с ней и не враги, – с добродушной улыбкой произнёс молодой человек. – Приходи, она будет рада...

Сейчас Мелке, вспоминая о том светлом дне, задумчиво улыбалась. Потом, желая хоть сколько-нибудь утешить Пери, сказала:

– В селе никто не любит дочь раби Нахума. Даже свекровь недовольна ею. А Эсеф, если бы ты видела, он стал как чахоточный. Всех она сделала несчастными.

Один Гомуил доволен ею, хотя из-за неё он ходит с кривой шеей.

Губы Пери тронула едва уловимая улыбка, а в глазах промелькнуло что-то вроде злорадства.

Обо всём ей было известно, но когда об этом она услышала от девушки, которая её любит, Пери почувствовала облегчение.

– Бог наказывает их за мои страдания, – с горечью проговорила она. А потом, немного помолчав, спросила: – Хочешь завтра утром пойти со мной в одно место? Чёрные глаза Пери таинственно заблестели.

– Куда? – с любопытством взглянула на неё Мелке, продолжая спокойно крутить в чашке веретено.

– К Сосуну, в лес!

Мелке выпустила веретено из рук и отвела в сторону глаза, боясь выдать своё волнение.

– Только надо идти на рассвете, чтобы нас никто не видел, – предупредила Пери. – Возьмём с собой мешки, как будто идём за шишками и айвой. Я уже приготовила узелочек с хлебом и варёными яйцами.

Уговаривать девушку долго не пришлось. Она сама хотела видеть Сосуна, посмотреть на него хоть издали, краешком глаза.

Хотя Мелке ни разу не говорила о своих чувствах, чуткое сердце Пери подсказывало ей, как девушка тоскует по Сосуну. От одного этого сознания Мелке становилась для неё родным, близким человеком.

... Ещё не рассеялась ночная мгла, когда девушки с пустыми мешками вышли на дорогу, ведущую через поля и лес в сторону реки Гюль-

герычай. Не успели они пройти с полверсты, как Пери, оглянувшись, увидела Илогу, который сразу шарахнулся в сторону и спрятался за прикорожными кустами. Девушка сразу изменилась в лице, её охватила жгучая ненависть к этому низкому, подлому человеку. Она поняла, что Илогу неотступно, как тень, следовал за ними: «Наверное, догадывается, куда мы идём». Мелке, заметив, как побледнела Пери, с беспокойством взглянула на неё.

– Что-нибудь случилось? – спросила она подругу.

– Проклятый Илогу следит за нами, чтобы он сторел! – выругалась Пери.

Мелке сразу же оглянулась назад, но Илогу уже не было видно.

– Пусть, как собака, плетётся за нами. Мы идём не куда-нибудь, а нарвать шишек и айвы, – неестественно громко заговорила Мелке, чтобы Илогу услышал её.

За последние полгода после свержения самодержавия староста и Илогу дважды ездили с подарками в окружной центр, просили у начальства помощи в поимке «опасного бунтовщика и разбойника Сосуна». Начальство благосклонно принимало подарки, обещало помочь, но полицейских не посылало. Для самого окружного начальства наступило спокойное время. Теперь начальникам было не до Гомуила, старосты какого-то отдалённого, затерянного в лесах татского селения.

А Гомуил по-прежнему жаждал мести и в то же время боялся своего бывшего батрака. Он приказал Илогу выследить Сосуна и убить его. Илогу был многим обязан своему покровителю старосте. Много лет назад Илогу сбежал со своей родины Варташана, так как был замешан в каком-то таинственном убийстве. Боясь наказания и мести родственников убитого, он добрался до глухого селения Нюгди, о существовании которого его землякам и во сне не снилось. Здесь он нашёл приют у нюгдинского старосты. О преступлении пришельца знал только один староста. Гомуил быстро оценил «достоинства» беглеца и приблизил его к себе, сделав своим подручным во всех грязных делах. Илогу хорошо знал, что нюгдинцы, особенно Сосун, ненавидят его не меньше, чем старосту, что он связан со своим покровителем одной верёвкой, поэтому Илогу готов был выполнить любое распоряжение своего хозяина, даже если оно было ему не по душе.

Последнее время иногда ночью Илогу, завернувшись в шубу, с револьвером в руке пробирался к дому Сосуна, рассчитывая подкараулить его, когда он придёт домой. Но, к его великому огорчению, Сосун ни разу не появлялся. Сегодня на рассвете Илогу опять крутился около дома Сосуна, а когда он увидел девушек, вышедших из калитки, то сразу сообразил, что

они идут на свидание с Сосуном. Тогда Илогу решил следовать за ними, как волк за отарой, но по неосторожности обнаружил себя.

Зная о том, что Илогу следит за ними, девушки решили его перехитрить, и поэтому шли медленно. Небо постепенно прояснялось, горизонт слегка порозовел. Густая листва деревьев, которую осень причудливо расцветила в красные, жёлтые и бурые тона, тихо шелестела от налетавшего порой озорного утреннего ветерка. Но осенняя трава была ещё ярко-зелёной. Скоро взошло солнце, и всё кругом как бы ожило, стало теплее. Неподалёку с шумом несла свои воды, перекатываясь через булыжники, река Гюльгерычай.

– А зачем нам далеко ходить? – громко, с беспечным видом сказала Мелке, остановившись посреди дороги у опушки леса. – Здесь тоже много айвы и шишек.

Девушки углубились в лес и начали срывать с веток мягкие с тонкой коричневой кожурой, сладкие, как хурма, шишки и жёлтые зрелые плоды дикой айвы:

Лесную тишину нарушал лишь монотонный шум близкой реки. И всё же каждый шорох доносился до слуха девушек. Они слышали, как Илогу, ломая ногами сухие ветки, осторожно, украдкой пробирается вслед за ними.

Вдоволь наевшись и набрав в мешки айвы и шишек, девушки вышли к берегу реки. По ту

сторону реки тянулся лес и зелёные поляны, освещённые нежаркими лучами октябрьского солнца. Река, извиваясь, стремительно бежала, как будто спешила скорее достигнуть конца своего пути, где она, наконец, найдёт безмятежный покой и отдых.

Илогу, не выпуская девушек из-под наблюдения, подошёл к опушке леса, откуда он мог всё увидеть и услышать. Опустившись на землю, он лёг на живот и стал наблюдать.

Вдруг Мелке, озорно глядя на Пери, громко сказала, чтобы слышал рыжий сатана Илогу:

– Пери, давай искупаемся, всё равно нам спешить некуда!

– Да ты что! – притворившись удивлённой, воскликнула Пери. – Нас могут увидеть.

– Кроме рыб и зверей, нас никто не увидит, уверяю тебя, – захохотала, гримасничая, Мелке, посмотрев в сторону леса.

Илогу понял, что девушки хитрят, хотят провести его, обмануть. Но он решил не поддаваться. Илогу был уверен, что купаться они не будут, вода в реке в это время холодная. Когда же Мелке подошла к реке, сняла обувь и стала ногой пробовать воду, уверенность Илогу поколебалась. А вдруг эти странные девушки и в самом деле будут купаться? От этой мысли он даже повеселел. Ему страстно захотелось посмотреть на их обнажённые тела, упругие девичьи груди. Он уже мысленно ласкал их,

жадно и грубо обнимал, прижимался к ним всем телом...

Несмотря на свои пятьдесят лет, Илогу не имел ни жены, ни детей. За долгие годы жизни в Ньюдди он женился много раз, но ни одна женщина не родила ему ребёнка. Прожив с женой год-два, он выгонял её за то, что она якобы бездетна, и брал себе другую жену.

Бить жену в Ньюдди считалось нормальным явлением, узаконенным обычаем. Муж, который не бил жену, не обращался с ней сурово, считался человеком, недостойным звания мужчины. Жили по поговорке: «чтобы из чалтыка сделать рис, надо молотить чалтык, чтобы из женщины сделать человека, надо бить жену». Даже женщины смотрели на побои и суровое обращение мужей, как на нечто должное, без чего немыслима супружеская жизнь. Женщины никогда не жаловались на жестокость своих мужей. Это считалось предосудительным.

А жестокость Илогу не знала границ. Он истязал своих жён, калечил их, гонялся за ними с обнажённым кинжалом, грозясь убить.

Вот уже пять лет Илогу жил один. Он истосковался по женщине. Услышав, что девушки собираются купаться, Илогу даже забыл, зачем он сюда пришёл. Жадно, с нетерпением он ждал, когда девушки сбросят с себя одежду и предстанут перед его алчущими глазами во всей своей прелестной наготы.

Забыв о предосторожности, Илогу, стиснув зубы и нетерпеливо двигаясь, тихо стонал.

А девушки почему-то медлили. Неожиданно лес наполнился шорохами, треском, хрустом. Илогу оглянулся. Прямо на него из лесу двигалась отара овец. Овцы, пощипывая траву, направлялись к реке на водопой. Отару сопровождали огромные лохматые собаки. Обнажив острые, как у волков, клыки, они с лаем окружили лежащего Илогу. Кровь застыла в жилах перепуганного Илогу. Кричать было бесполезно, чабанов поблизости не видно. Лишь только Илогу попытался встать, как одна из собак с хриплым злобным лаем бросилась на него и острыми клыками вонзилась ему в ягодицу. Илогу дико взвыл от боли и страха. С трудом приподнявшись, он бросился в сторону и спрятался за ствол большого дерева. Выхватив револьвер, Илогу стал беспорядочно палить в окруживших его собак. Одна из них, истекая кровью, сразу же упала, жалобно завывая. Вторая собака, раненная в бок, осела на месте. Обессиленная, она продолжала слабо таявкать. Две другие собаки, хотя и неистовствовали в своей ярости, но подойти к Илогу уже не посмели. Пользуясь их замешательством, Илогу бледный выскочил из лесу, пугливо озираясь. Хромая и прикрывая рукой окровавленный зад, он на виду у смеющихся девушек поковылял по берегу реки обратно в село.

Через несколько минут той же дорогой возвращались домой и девушки.

Глава VII

ВСТРЕЧА

Стояла поздняя осень. Утренние заморозки окрасили листья на деревьях в разные цвета, а частые холодные ветры, трепавшие ветки и кусты, наполовину обнажили их. А те листья, которые ещё держались на деревьях, потускнели и напоминали жалкие лохмотья нищего из разноцветных лоскутков. Поля оголились. Холод сковывал почерневшую землю.

Было раннее утро, сырое, пасмурное, а небо обложено серыми неподвижными тучами. В это неприветливое утро через лес, который шумел на ветру, как морской прибой, по узкой протоптанной тропинке, местами покрытой опавшими листьями, медленно брёл Шолум. Он был одет в полушубок, шапку-ушанку и рабочие сапоги. В его клинообразной тёмно-каштановой бороде пробивалась седина, на бледном измождённом лице и выпуклом лбу появились преждевременные морщины, но глаза, казалось, приобрели ещё больший блеск. Они смотрели пытливо, остро и в то же время ласково, с прищуром. Он шёл и с волнением смотрел на родные леса и

поля, которые воскрешали в его памяти воспоминания детства и юности.

В самой глухой части леса, возле глубокого оврага, по дну которого с шумом неслась мутная вода, Шолум вдруг остановился. Под развесистым дубом, упираясь задом в его широкий ствол, стояла буйволица с огромным вздутым животом. Она пригнула голову к земле и выставила вперёд острые рога. Перед ней кружились волк и волчица, нетерпеливо виляя хвостами и щёлкая зубами. Шолум догадался, что буйволица тайком отбилась от стада, чтобы в укромном месте в гуще камышовых зарослей или в глухой чаще леса родить детёныша, но вездесущие волки подстерегли её. Вдруг в нескольких шагах раздался выстрел, эхом отозвавшийся в лесу. Шолум невольно вздрогнул. Волчица смешно подпрыгнула, присела на задние лапы и жалобно завывала, задрав голову, и тут же замертво грохнулась на землю. Перепуганный волк шарахнулся в сторону и, трусливо озираясь, быстро скрылся в лесу. В ту же минуту буйволица подняла голову, тупо огляделась, затем побежала со всех ног в сторону открытого поля, подрагивая животом.

Меж деревьев показался широкоплечий черноусый молодой человек в папахе и черкеске. Он был увешан патронташами, с охотничьим ружьём за плечом. Шолум сперва принял его за лесного разбойника, а когда присмотрелся,

то узнал в нём того самого маленького батрака, который работал на Гомуила.

Шолум подошёл к нему, чтобы поздороваться, но Сосун насторожился. Он снял с плеча ружьё и стал внимательно присматриваться к подозрительному человеку.

– Ты никак Сосун, сын Шебетея, если я не ошибаюсь? – спросил Шолум.

Услышав знакомый голос, Сосун застыл в изумлении. Потом, быстро закинув ружьё за плечо, он с нескрываемой радостью подошёл к Шолуму и крепко пожал ему руку.

– С приездом, Шолум, с приездом, дорогой! – произнёс взволнованно Сосун.

– Спасибо, спасибо, – проговорил Шолум, обрадованный в свою очередь встречей с земляком. – Ну, давай посидим, поговорим.

Они присели на ствол срубленного кем-то дерева, продолжая с сердечной улыбкой оглядывать друг друга. Шолум достал из кармана кисет с табаком и короткую трубку. Набив её, он протянул кисет Сосуну и тут же спросил:

– Скажи, Сосун, почему ты в такую рань бродишь по лесу, когда все добрые люди спят в тёплых постелях?

Сосун поставил ружьё между коленями, взял кисет и задумался, словно был озадачен таким вопросом. Перед его мысленным взором снова промелькнули события последнего времени. Собравшись с мыслями, Сосун рассказал

подробно о том кошмарном вечере, после которого ему пришлось покинуть родной дом.

Шолум внимательно выслушал печальный рассказ юноши. Ещё одно трагическое событие, происшедшее в селе по вине всё того же Гомуила.

– Как же ты всё-таки целый год жил в лесу? – с грустной улыбкой спросил Шолум.

– Пришлось жить и жил, – уклончиво ответил Сосун, печально вздыхая. – Не хотелось, как лягушке, броситься в пасть змеи, добровольно отдать себя на расправу. Нам с Гомуилом тесно на земле. Один из нас должен быть в ней. Я постараюсь сделать так, чтобы в земле оказался он! – твёрдо сказал Сосун, и его рука невольно сжала ствол ружья.

Немного помолчав, Сосун с глубокой горечью в голосе проговорил:

– Гомуил женил твоего брата Эсефа на дочери раби. Ради этого он оклеветал, опозорил мою, ни в чём неповинную, сестру.

Несколько минут оба молчали, каждый думал о своём. Потом Шолум встал, положил руку на плечо Сосуна, заглянул ему в глаза.

– Хватит тебе хорониться от Гомуила, пойдём в село, – произнёс он.

Сосун с недоумением посмотрел на Шолума.

– Чтобы Гомуил меня сцапал и передал в руки властям? – горько усмехнулся он.

– Эх, ты! Живёшь, как волк в лесу, и не знаешь, что творится на белом свете, – дружески упрекнул он молодого человека. – Я тебе главного не сказал. Радуйся, теперь установлена наша власть. Называется она Советской. А хозяевами страны стали рабочие и крестьяне. Я иду в село, чтобы всем объявить об этом. Пойдём, по дороге всё расскажу подробно.

Пока они шли, оживлённо беседуя, погода разгулялась. Из-под серых разорванных облаков ослепительно брызнуло своими нежаркими лучами октябрьское солнце. Всё вокруг, словно засияло, засверкало, заулыбалось.

Увлечённые беседой, они не заметили, как дошли до села. День был субботний. Все мужчины находились в нимазе¹, а женщины группами собирались у своих ворот, лузгали семечки и шумно обсуждали сельские новости. Увидев Шолума и Сосуна, они вставали и спешили им навстречу, наперебой приветствуя их. Со всех сторон неслись возгласы:

– С приездом, Шолум! Дай бог, чтобы ты всегда радовал глаза своей матери!

– Да чтобы тебя миновали беды и болезни, Сосун!

– Как ты изменился, Шолум, на себя не похож!

¹ Нимаз – молеальный дом, синагога.

Кто-то из женщин побежал позвать мать Шолума, Гюзюргул.

Старуха Эвшег отвела Сосуна в сторону и, не спуская с него добродушно лукавых глаз, таинственно ему нащёптывала:

– Коли ты замышлял убить этого старого пса, надо было добивать его до конца... Он ещё не знает, что я выдала тебе его подлость, а то бы сжил меня со света. Я потихоньку всем рассказала, как Гомуил хотел подкупить меня, чтобы оклеветать твою сестру, а потом, когда я отказалась, он поручил это гнусное дело Илогу. Всем известно, что твоя сестра чиста и невинна, как голубка. Теперь от женихов отбоя нет. А тебе надо бы помириться с Гомуилом. Ты же знаешь, сынок, поговорку: «с сильным не борись, с богатым не судись».

Прибежала Гюзюргул. Еле переводя дыхание от быстрой ходьбы и охватившего её волнения, она обвила руками шею сына и долго не отпускала, осыпая его материнскими поцелуями. Посмотрев сыну в лицо, мать залилась слезами, скорбно качая головой и причитая:

– Что они с тобой сделали, сын мой? Ты на себя стал не похож.

Шолум целовал мать, ласково гладил её седые волосы, успокаивал:

– Не волнуйся, мама, теперь больше меня в тюрьму не посадят и в ссылку не отправят.

Глядя на них, прослезились и стоявшие вокруг женщины.

– Хватит плакать! Вместо того, чтобы радоваться, подбодрить сына, ты его расстраиваешь, – с упрёком сказала одна из женщин, смахивая набежавшую слезу.

– Тебе легко говорить, а попробуй-ка сдерживать материнское сердце, – сочувственно произнесла другая.

Узнав, что, по случаю субботы, все мужчины ушли в нимаз, Шолум, кое-как успокоив мать, направился с Сосуном туда же. Нимаз был единственным каменным сооружением в селе. По его низеньким, истоптанным, с потёртыми краями ступенькам Шолум и Сосун не спеша поднялись на веранду, выложенную тяжёлыми плитами. В нимазе шло богослужение. Престарелый раби Нахум, облачённый в длиннополый шёлковый халат, стоял на амвоне. Своим сильным певучим голосом он нараспев дочитывал «плач пророка».

Все слушали раби с вниманием, внемля его красивому, несколько печальному голосу.

Ближе всех к амвону сидел староста. Среди убого одетых нюгдинцев особенно нарядной выглядела особа старосты. По случаю праздничного дня он был одет в белый шёлковый бешмет, затянутый серебряным поясом, в галифе из красного сукна, а его ноги обтягивали

щегоольские хромовые сапоги с мягкими голенищами. На большой седой голове Гомуила красовалась высокая папаха из коричневого каракуля. С правой стороны от него сидел со скучающим видом Эсеф, а слева – его телохранитель Илогу.

Покончив с плачем пророка, раби повернулся лицом к джамаату, простёр над присутствующими руки и прочитал короткую молитву, благославляя нюгдинцев именем бога Авраама, Исаака и Иакова. Едва раби произнёс «аминь», встал староста.

– А теперь читай благословение господину Керенскому, – обратился он к раби. – Раньше духовенство молилось за царя. Теперь мы потеряли нашего падишаха, но зато обрели Керенского. Он мудро правит нами, оберегает нас от большевистских беспорядков и разных грабителей.

Среди богомольцев послышался недовольный ропот. Шолум тронул Сосуна за плечо и сказал ему, чтобы он оставался на веранде, а сам стремительно вошёл в намаз.

– Не верьте старосте! – на ходу громко бросил Шолум, подняв руку. – Он лжёт, как всегда!

Неожиданное появление Шолума, его слова произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Присутствующие, словно по команде, встали со своих мест. С удивлением и любопытством они смотрели на Шолума.

– Это ты, Шолум?! – невольно вырвалось у старосты среди напряжённого молчания.

– Брат! – радостно воскликнул Эсеф, бросааясь к нему.

Но староста успел схватить сына за руку и опять усадил его возле себя.

Шолум быстро поднялся на амвон, не совсем вежливо отстранил рукой ошеломлённого раби. Тот медленно, но покорно сошёл с амвона, удивлённо разводя руками.

– Какие времена, какие нравы! – недовольно и обиженно бормотал он, ступая по узким скрипучим дощатым ступенькам.

– Товарищи, братья! – обратился Шолум к сельчанам. Его голос зазвучал звонко и твёрдо. В глазах появился какой-то особенный блеск. – Я принёс вам радостную весть. Рабочие и крестьяне три дня тому назад свергли господство богачей и взяли власть в свои руки.

Теперь у нас Советская власть, наша власть. Образован Совет Народных Комиссаров, во главе которого стоит Ленин – отец и вождь всех трудящихся, всех угнетённых.

– Ленин! – повторил Рахмон, подтолкнув локтем стоявшего рядом с ним Шелбета.

– Да, Ленин, – улыбнулся старик, словно он давно знал, что так и должно было случиться.

– Ленин, Ленин... – передавалось из уст в уста.

– Теперь вся земля принадлежит не Гомуилу,

не раби Нахуму и другим богачам, которые, как паразиты, жили за счёт вашего труда, – неслось с трибуны, – а вам, тем людям, которые землю обрабатывают!

Раби вдруг встал. Он воздел руки кверху, уставился выцветшими глазами в потолок и трагически произнёс:

– О, великий боже, слышишь ли ты, во что превратился твой храм?! – Затем, обращаясь к народу, громко с возмущением и злостью сказал: – Отверните свои очи от этого безбожника, не слушайте его, иначе на том свете будете гореть в вечном огне!..

Но раби никто уже не слушал. Его слова вызывали у нюгдинцев только досаду, потому что он мешал слушать оратора.

– Большевик, харамзада! – не вытерпел староста и в бессильной ярости топнул ногой.

Раздался выстрел. На несколько мгновений часть помещения заволокло вонючим пороховым дымом. В открытом окне, за которым темнел глубокий овраг, а неподалёку простирался лес, промелькнула маленькая, коренастая фигура Илогу. Шолум умолк, покачнулся и, прижав правой рукой раненое плечо, медленно опустился на пол.

Несколько человек бросились к раненому. В нимазе всё смешалось, поднялся невообразимый шум, раздались проклятия в адрес Гомуила, Илогу и всех богачей.

Рахмон, со зловеще сверкающим глазом, сжав кулаки, ринулся на Гомуила.

– Злодей, убийца! Довольно тебе мучить и грабить нас, убирайся вон! – в гневе закричал он на старосту.

Воспользовавшись общей суматохой, потерявшийся Гомуил схватил за руку Эсефа и быстро направился к выходу. У двери он остановился, повернулся к джамаату и, трясаясь от охватившей его ярости, крикнул, угрожая размахивая кулаком:

– Шакалы голодные, голытьба презренная! Погодите, я ещё расквитаюсь с вами!..

Но он внезапно умолк, увидев перед собой, словно выросшую из-под земли, плотную, коренастую фигуру своего батрака Сосуна. Их глаза впились друг в друга. Перепуганный Эсеф вырвал свою руку из руки отца и стремительно бросился в открытые двери нимаза.

Глава VIII

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Гюзюргул была в отчаянии. Ей казалось, что все беды и несчастья, которые есть на свете, обрушились на неё. Старший сын, её первенец, который столько лет томился в царских тюрьмах, замерзал и голодал в далёкой Сибири, лежит

раненый; второй сын, опасаясь мести Сосуна, убежал неизвестно куда. Где он, что с ним? При одной мысли, что он, может быть, скитается, как бездомный бродяга, сердце её разрывалось. Её муж Гомуил сидит в остроге, в том самом остроге, куда он сам сажал недоимщиков, скандалистов, конокрадов. Что теперь с ним будет? Говорят, новые власти, большевики-безбожники – злые люди. Они убивают без разбора всех богачей и благородных. Что же заставило её сына, вскормлённого и взлелеянного материнской любовью, окружённого лаской и заботой, стать большевиком?

Бог свидетель, она никогда не любила своего второго мужа, не радовалась его богатству, не дорожила его вниманием. Овдовев после загадочного убийства её любимого Юсуфа, она и не думала о замужестве. Даже мысль об этом казалась ей преступной, оскорбляющей память покойного. Она хотела жить одна, посвятить свою жизнь будущему ребёнку, отдать ему всё тепло материнской любви и ласку своего сердца. Но Гомуил, неистовый и грозный, силой и угрозами заставил её выйти за него замуж, да простит ему бог в такой тяжёлый и скорбный для него час.

Гомуил любил своего пасынка Шолума, как родной отец, не жалел денег на его учение. А чем отплатил своему отчиму её сын, не будь худо о нём сказано? Вместо благодарности он возненавидел отчима. И получилось, как в по-

говорке: «Я за тебя душу отдаю, а ты мне яму копаешь». Гюзюргул не одобряла грубости и жестокости мужа, особенно по отношению к беднякам, которых он беззастенчиво обирал и притеснял. Но ведь к Шолуму Гомуил относился хорошо. За что же Шолум невзлюбил своего приёмного отца? Посадил старика в острог, опозорив его седую бороду.

Гюзюргул сидела возле постели сына в доме Сосуна, куда его перенесли после ранения, изливала ему свои горести и печали. В доме, кроме них, никого не было. Шолум был легко ранен в левое плечо, пуля прошла навылет, не задев кости. Больного уложили у стены, возле очага, в котором, весело потрескивая, горели сухие дубовые поленья. Огонь от очага отбрасывал яркие отблески на голые потемневшие стены, смазанные глиной, на низкий камышовый потолок. Через круглое отверстие в крыше, заменявшее окно, была видна одинокая звезда на вечернем небе. В стенной нише чадила коптилка. Её пламя, напоминавшее маленький красный язычок, поминутно колебалось и, словно в испуге, вздрагивало. Шолум лежал, прислонившись спиной к стене, и рассеянно слушал мать, думая о чём-то другом. По его лицу, ещё больше осунувшемуся, блуждала печальная улыбка. Большие тёмно-карие глаза, такие же, как у матери, смотрели задумчиво и с грустью. Он время от времени бросал нетерпеливые взгляды в сторону двери, как будто ожидал кого-то,

нервно теребил тонкими бледными пальцами край одеяла.

Дверь беззвучно отворилась. На пороге показалась стройная фигура Пери. Из-под её чёрного платка торчала рукоятка кинжала. Увидев Гюзюргул, девушка, смутившись, остановилась в дверях, словно не решалась войти в комнату. Шолум, заметив её колебание, приветливо улыбнулся.

– Пери, дорогая, войди, не стесняйся, – ласково сказал он.

– Войди, войди, доченька, – мягко проговорила старуха, но тут же перевела настороженный беспокойный взгляд на сына и тревожным шёпотом добавила: – У неё, кажется, под платком спрятан кинжал?!

– Не волнуйся, мама, – поспешил Шолум успокоить мать. – Это я послал её за кинжалом к старику Шелбету. Ты сейчас всё узнаешь.

Преодолев смущение, девушка нахмурила брови и твёрдым, уверенным шагом, не глядя на Гюзюргул, подошла к постели больного. Она вынула из-под платка кинжал с поясом, молча подала Шолуму и поспешно вышла из комнаты.

Увидев кинжал с поясом, Гюзюргул вздрогнула, её глаза так и впились в эти давно знакомые ей вещи, на её круглом, полном лице отразились одновременно испуг и удивление. Она дрожащими руками взяла кинжал и прижала его к груди. Её глаза наполнились

слезами, горький комок подкатил к горлу.

– Сын мой! – воплем вырвалось у неё из груди. – Ведь этот кинжал и пояс принадлежали твоему покойному отцу, откуда они взялись?

Опустив голову на грудь, она зарыдала, вздрагивая всем телом. Эти предметы вдруг вернули её к далёким дням безвозвратно ушедшей юности, воскресили в памяти те недолгие счастливые дни, когда она жила с любимым человеком, напомнили и о том страшном дне, когда Юсуфа привезли мёртвым.

Шолум приподнялся и здоровой рукой нежно обнял мать за плечи.

– Мама, мамочка, – произнёс он голосом, полным глубокого сострадания. – Я знаю, тебе будет тяжело, очень тяжело... Но я должен рассказать обо всём... Только прошу, возьми себя в руки.

Но мать не в силах была сдержать рыданий. Покачиваясь, точно от боли, она прикладывала кинжал к глазам, губам, груди, словно обнимала живого Юсуфа. Глядя на мать, Шолум сам с трудом сдерживался, чтобы не расплакаться.

Наконец, Гюзюргул несколько успокоилась. Она посмотрела на сына мокрыми от слёз глазами и строго спросила:

– Скажи, кто убил твоего отца? Я должна знать об этом!

Шолум взял руку матери в свою и дрожащим от волнения голосом заговорил:

– Ты знаешь, мама, что злодейское убийство

произошло тридцать лет тому назад. К счастью, живы ещё те люди, которые не только знают об этом убийстве, но и видели, как оно произошло. – Помолчав, он добавил, не спуская тревожного взгляда с лица матери: – Пусть будет тебе известно, что нашего отца убил Гомуил!..

При последних словах голос сына прозвучал резко и негодующе.

Гюзюргул испуганно откинулась назад. Застыв, она с минуту смотрела на сына округлившимися от ужаса глазами, потом до боли стиснула ладонями голову, зажмурила глаза и вся как-то сжалась. Мрачное повествование сына об убийстве Гомуилом её мужа она слушала как в запутанном, страшном сне, полном леденящих душу ужасов.

Ей вдруг стало тесно и душно, сердце бешено заколотилось в груди. Гюзюргул хотелось, чтобы сердце совсем перестало биться, чтобы пришёл конец её жизни, её мучениям. Боясь потерять сознание и напугать больного сына, она, преодолевая слабость, с трудом поднялась, взяла свою шаль и, шатаясь, не видя ничего перед собой, вышла во двор. Шолум не стал её удерживать: человеку, на которого обрушилось большое горе, лучше побыть одному.

Прошло несколько минут, дверь распахнулась, и в комнату вошёл Рахмон, весело поблёскивая единственным глазом. В солдатском френче с Георгием он сегодня выглядел особенно торжественно. Подбородок был гладко вы-

брит, усы с густой проседью тщательно закручены, а лицо сияло каким-то внутренним светом. Вчера односельчане единодушно избрали Рахмона председателем сельсовета. А сегодня его все, от мала до велика, с уважением называли не иначе, как Сельсовет-Рахмон. Вслед за ним вошёл его заместитель Сосун, который ни на минуту не расставался со своей двустволкой и патронташем. Вместе с Сосуном пришли и члены сельского Совета: худой, длинный, как жердь, Шелбет и Цыган-Севи.

Окинув пытливым взглядом комнату, Сосун первым обратил внимание на небольшой портрет, вырезанный из газеты и аккуратно приклеенный к стене над головой Шолума. Он подошёл поближе, чтобы лучше рассмотреть его.

– Неужели это он?! – с волнением спросил Сосун, показав на портрет.

– Да, это он, Ленин Владимир Ильич, вождь и учитель всех трудящихся, – ответил Шолум с гордостью.

Все бросились к портрету и несколько минут молча рассматривали изображение великого человека.

На них глядел мужчина средних лет с огромным лбом, ласковым прищуром острых глаз и доброй улыбкой на лице.

– Вот он какой, Ленин, – прошептал Сосун, не сводя с портрета восторженных глаз.

– А какой лоб! Умнее его, видать, никого нет на свете, – произнёс Рахмон.

– Честное слово, когда я смотрю на него, мне как будто становится и теплее и веселее, – сказал Шелбет, передёргивая худыми острыми плечами и потирая руки.

Старик, несмотря на наступившую зиму, ходил в той же одежде, что и летом: в белых заплатах бязевых шароварах и в бязевой рубашке.

– А теперь рассаживайтесь и рассказывайте, как у вас идут дела? – предложил Шолум.

Рахмон и Цыган, поджав под себя ноги, уселись возле постели Шолума, а Сосун и Шелбет, которого всё ещё знобило от холода, устроились поближе к очагу. Сосун взял несколько сухих поленьев и подкинул их в огонь. Дрова сразу вспыхнули, загорелись, и лёгкие искры, словно живые светлячки, полетели вверх через зияющее в крыше тёмное отверстие.

– Сидеть долго не будем, – предупредил Рахмон. – Надо в намаз идти. Там скоро народ соберётся.

Вынув из кармана несколько помятых, засаленных листков бумаги, испещрённых кривыми буквами и цифрами, Рахмон бережно разгладил их. Затем он обстоятельно рассказал Шолуму о результатах замера земель, принадлежащих Гомуилу, о численности его скота, о конфискованном имуществе, которое, согласно решению сельсовета, будет распределено между бедняками.

... Никогда ещё в просторном помещении

нимаза не собиралось столько людей, сколько пришло их в этот вечер. Рядом с мужчинами сидели, тесно прижавшись друг к другу, женщины, которых раньше в намаз не пускали.

Забыв о том, что они находятся в храме божьем, нюгдинцы перебрасывались шутками, плевали на пол, шумно разговаривали, спорили друг с другом. При свете единственной лампы «Молнии», подвешенной возле амвона к потолку, в густом табачном дыму лица людей виднелись, как в сизом тумане. Рядом с амвоном лежало несколько мешков сахара, соли, ящики с мылом, тюки мануфактуры и с десятков тульских ружей с боеприпасами. Всё это было изъято из кладовых богача Гомуила.

Члены сельсовета во главе с Шолумом стояли на вместительном амвоне.

Рахмон выступил вперёд, обвёл присутствующих строго-торжественным взглядом и поднял руку над головой, призывая к порядку. Все умолкли, когда заговорил Шолум.

– Товарищи! С этого амвона раби возносил молитвы богу, читал вам сладкие, но ложные проповеди о вечном блаженстве, которое, будто бы, ожидает на том свете того, кто будет безропотно гнуть спину на богачей и духовенство, жертвовать личным счастьем и благополучием ради их счастья. И грозил вечной карой тем, кто осмелится поступить иначе. С этого амвона наши духовные отцы благославляли царей и правителей, которые

держали народ в рабстве и страхе, довели его до нищеты!

Голос Шолума становился всё звонче и твёрже, а собравшиеся жадно ловили каждое его слово.

Он говорил о тех обидах и притеснениях, которые богачи причиняли народу, назвал имена своих односельчан, ставших жертвой необузданной жажды наживы и произвола своего отчима, рассказал о тех замечательных перспективах, которые открывает перед народом Советская власть, Коммунистическая партия, великий Ленин. Своё выступление он закончил призывом горячо поддержать мероприятия Советской власти.

Нимаз снова загудел, как улей, в котором поворошили палкой, когда Рахмон объявил, что он сейчас прочтёт список, кого из сельчан решено наделить землёй за счёт конфискованных земель старосты и кто из крайне нуждающихся получит мануфактуру...

Рахмону не дали договорить. Раздались нетерпеливые голоса:

– Давай, объяви сперва о земле!

– Правильно! Покойник хоть три аршина земли имеет, а у нас и того нет.

– Только, чтобы по справедливости! А то одному дадут жирную землю, а другому – чахлую!

Воспользовавшись общим возбуждением, к амвону пробрался, поправляя на ходу спол-

завшую с плеч рваную шубёнку, маленький старичок Дон, постоянно болеющий малярией. На минуту все стихли, ожидая, что может сказать дедушка Дон. Приподнявшись на цыпочки и угрожающе помахивая своим коротким указательным пальцем, старик что есть силы заговорил тоненьким петушьим голоском:

– Я требую, чтобы мне дали не только хорошей земли, а также ситца или сукна, – бросил он горящий взгляд в сторону разноцветных тюков, – иначе может произойти смертоубийство!

И старик затрясся так, словно его прихватил приступ сильнейшей малярии.

– Это что за угрозы!? – с притворным возмущением крикнул Цыган-Севи.

Рахмон выступил вперёд, склонившись над перилами амвона. С шутливым упрёком обратился он к старику:

– Если ты такой храбрый, то почему же не убил Гомуила или Илогу, когда они вас мучили, а нам теперь грозишь?

Старик пропустил эту реплику мимо ушей, мотнул головой и заговорил предостерегающе:

– Да, не ручаюсь, может произойти смертоубийство. Нож уже дошёл до костей. Мочи моей нет дальше терпеть такое. У меня в доме, начиная с моей старухи и кончая снохой и дочерьми – все до единой ходят нагие, прикрыться нечем. Даже за водой приходится им ходить по ночам, когда все спят. Не могу же я или сын топтать

в грязи своё мужское достоинство и, как бабы, носить в кувшине воду с родника.

Старик хотел что-то ещё сказать, но голос его дрогнул, на глазах выступили слёзы.

– Садись на место, дедушка Дон, мы учтём твою просьбу, – успокоил его Шолум.

Старик смущённо покрутил опущенной головой, передёрнул плечами и неловко направился к своему месту, провожаемый сочувственными взглядами.

В это время в помещение стремительно вошёл лезгин Гасан и остановился посреди намаза. Его худощавое лицо, обросшее седой клочковатой щетиной, напоминавшей мыльную пену, было возбуждено. Он тяжело дышал, словно за ним гнались. Окинув быстрым взглядом собравшихся, Гасан заговорил громко, с тревогой в голосе:

– Дустлар, друзья! Вооружённые кулаки из нашего села и из села Аглаби ¹ решили вместе с Илогу напасть сегодня ночью на ваше селение, сжечь его, отомстить вам за поддержку большевистской власти. Бандиты уже на полпути от села. Защищайтесь!

Это тревожное известие взволновало весь джамаат. Нюгдинцы окружили Гасана и начали наперебой расспрашивать о подробностях. Некоторые бросились было бежать, но голос Шолума остановил их.

¹ Аглаби было заселено исключительно татами.

– Товарищи, не бойтесь! – крикнул Шолум.
– Враги хотят запугать нас, чтобы мы отказались от своей родной Советской власти и по-прежнему гнули на них спины. Не бывать этому!

Голос Шолума зазвучал грозно и предостерегающе:

– Дадим отпор вражеской вылазке, защитим своё право на свободную жизнь!

– Будь они прокляты, кровопийцы! – раздался среди всеобщего молчания возмущённый голос старика Дона. Он решительно сбросил с плеч шубу и вышел вперёд, воинственно выпятив чахлую грудь. – Дайте и мне ружьё. Я сам пойду сражаться с ними. Это из-за них у меня весь женский пол сидит нагишом.

Шолум терпеливо подождал, пока не выскажется разгневанный Дон, а затем обратился к Гасану:

– Спасибо тебе, дядя Гасан, за помощь, друзья познаются в беде.

Гасан, польщённый благодарностью Шолума, ответил чётко, как воин:

– Я приехал не один. Со мной сын и брат. Все мы вооружены. Будем драться вместе с вами.

... Укрывшись за высокой земляной оградой сада, группа вооружённых нюгдинцев устроила засаду. Отрядом командовал Шолум. Остальные мужчины, вооружённые чем попало – кольями, вилами, кинжалами и топорами,

охраняли село с другой стороны, откуда можно было ожидать обходного маневра со стороны кулацкой банды.

Ничто не нарушало тишины этой тёмной морозной ночи. Только на мутном небе пугливо мигали далёкие звёзды, да смутно виднелись застывшие в немом удивлении оголённые деревья. Узкий проход между садовыми изгородями, где пролежала дорога, напоминал глубокий, бездонный ров. Время тянулось нестерпимо долго, руки и ноги сковывал холод. Но вот настороженный слух засевших в засаде нюгдинцев уловил в чуткой ночной тишине нестройный конский топот. Люди с возрастающей тревогой и напряжением впились глазами в ночную темень.

– Стрелять будем, как только они поравняются с нами, – шёпотом передал Шолум по застывшей цепи.

Наконец за поворотом дороги показались чёрные, медленнодвигающиеся силуэты всадников. Они ехали не спеша, храня зловещее молчание. Едва первые ряды бандитов приблизились к засаде, как мёртвую тишину внезапно всколыхнули дружные залпы нюгдинцев. На одно мгновение вспышки огня разорвали завесу ночи, озарили дорогу, лица бандитов, лошадиные морды и хвосты. Вслед за выстрелами слышались крики, протяжные вопли ночных пришельцев, тревожное ржание их лошадей, стоны раненых. После первого залпа

раздался второй, а затем третий. Бандиты, побросав убитых и раненых, в панике отступили. Но нюгдинцы, по приказу Шолума, остались на своих местах, ожидая рассвета. После первой победы люди приободрились. Разгорячённые боем, они не чувствовали ни холода, ни усталости. Сосуну показалось, что в одном из всадников, который после его выстрела упал с коня, смешно вскинув руки, он узнал Илогу. Сосуну не терпелось перелезть через ограду на дорогу, поискать среди убитых ненавистного ему холуя старосты. Но Шолум приказал никому не трогаться с места.

Спустя час над головами нюгдинцев свистнуло несколько пуль. Стреляли с тыла. В предупредительной мгле нюгдинцы увидели подкрадывающихся к ним бандитов, которые пробрались в сад и спрятались за деревьями. Выстрелы участились. По знаку Шолума нюгдинцы рассыпались цепью по саду и открыли беглый огонь.

Скоро всё смешалось. В полумраке трудно было разобрать: где свои, а где чужие. В пылу схватки Сосун пробился вперёд и неожиданно оказался окружённым пятью бандитами. Чувствуя, что ему живым не уйти, он под свист пуль бросился к развесистому ореховому дереву с обнажёнными чёрными корнями. Под ними тихо бил родник чистой, как хрусталь, воды, а вокруг дерева рассыпались опавшие жёлтые листья. Сосун укрылся за деревом и стал отстреливаться. Один из бандитов, видимо самый

нетерпеливый, хищно оскалив крупные зубы, кинулся на Сосуна, но от его меткой пули упал, как подкошенный, выронив ружьё. Второй бандит медленно, но упорно старался подползти к ореховому дереву. Над пожелтевшей травой была видна только его голова в папахе. Сосун выстрелил. Голова упала на землю и больше уже не поднялась. Осталось трое бандитов. Они продолжали яростно отстреливаться, всё теснее и теснее сжимая кольцо вокруг Сосуна. В короткие перерывы между выстрелами было слышно, как под ними шуршат листья и потрескивает валежник. Сердце Сосуна билось часто-часто, несмотря на мороз, лицо пылало жаром, пот капал со лба, заливая глаза. Он не чувствовал тяжести своего тела, оно казалось ему почти невесомым. А руки, крепкие рабочие руки, с невероятной силой, до боли в суставах сжимали винтовку, глаза напряжённо следили за врагами. Когда бандиты вплотную подползли к нему и он уже слышал их звериное сопение, Сосун нажал спуск, но вместо выстрела раздался глухой металлический звук. «Патроны кончились», – мелькнула мысль. Отшвырнув в сторону ненужное теперь ружьё, он поднялся во весь рост, в его руке блеснула холодная сталь кинжала. Но в это мгновение одновременно раздались два выстрела. Сосун как-то неестественно вытянулся, а потом с глухим стуком упал на землю.

Когда он открыл глаза, подёрнутые сонным туманом, первое, что он увидел – это скло-

нившееся над ним злое, торжествующее лицо своего врага Илогу. Его маленькие зеленоватые глазки смотрели на Сосуна мстительно, а правая нога с силой давила на его грудь. Над головой Илогу он видел тёмные сучья орехового дерева, а ещё выше – серое небо, по которому, распластавшись, как воронье крыло, мчалась чёрная лохматая туча. В груди Сосуна всё горело от какого-то нестерпимого огня, мучительно хотелось пить.

Раненый сделал попытку повернуться к роднику, припасть воспалёнными губами к живительному источнику, но тяжёлая нога давила на грудь, пригвозждала его к земле. Откуда взялся Илогу? Сосун думал, что в ночной стычке убил его, избавил людей от этого негодяя. А он, оказывается, жив, да ещё угрожает Сосуну его же кинжалом. Глаза раненого заволакивает непроницаемый мрак, по телу разливается истома, голова бессильно склоняется к плечу. Он чувствует, как какая-то неведомая сила уносит его на быстрых крыльях высоко.

Что-то холодное и острое коснулось его груди. «Неужели конец», – подумал Сосун, но в этот момент громкий выстрел и душераздирающий крик слились в один жуткий звук, а потом сильные руки подхватили и подняли его. Сквозь тяжелую дрёму, которая всё больше и больше одолевает Сосуна, он слышит чей-то далёкий тревожный голос:

– Сосун, сын мой, очнись! Это я, Рахмон! Послушай, что я тебе расскажу...

Но теперь он уже ничего не видит и не слышит, впадая в забытьё.

Сосуну вдруг отчётливо и ясно представилось: вот он идёт по улице родного села, где ему знаком и близок каждый дом, каждый уголок. Он идёт не один. Вместе с ним его односельчане. Все они одеты в новые и пёстрые одежды, особенно девушки. В своих ярких разноцветных платьях они похожи на букеты цветов. Сосун сожалеет, что он не успел полюбить ни одну из них, прижать к своей груди. А жизнь без любви – это всё равно, что цветы без солнца и тепла.

Но Сосун утешает себя тем, что его жизнь впереди, он ещё полюбит. Вечная борьба за кусок хлеба, бедность, зависимость от воли и каприза хозяина вынуждали его глубоко прятать свои чувства... Вот идёт старичок Дон. Впервые он видит его без шубы, в синем шёлковом халате, какой носил богач Гомуил. Дон держит за руки двух своих разодетых дочерей – Мелке и её сестру, которые, кажется, ещё вчера не знали, чем прикрыть свою наготу. Какие они красивые! Слева и справа от старика Дона идут Рахмон, Пери, Шолум, Севи-Цыган, Шелбет, лезгин Гасан с сыном, мать Шолума Гюзюргул. Откуда-то доносятся весёлые звуки зурны и барабана. Наверное, сегодня праздник или кто-то справляет свадьбу.

Впереди всех, заложив руки в карманы,

идёт бодрым шагом плотный, невысокий человек. У него огромный гладкий лоб, острые с ласковым прищуром глаза, небольшая борода-ка клинышком. Взгляды всех устремлены на него. Люди, идущие за ним, громкими возгласами, энергичными жестами, бурно выражают ему свою любовь, а он в ответ тепло, отечески улыбается.

Сосун как будто бы знает этого человека, видел его, но никак не может вспомнить – где? Вот он идет уверенной походкой через родное село Сосуна, направляется в сторону открытого поля. Оно расстелилось, как огромный зелёный ковёр, и весело сверкает под яркими лучами весеннего солнца. Человек останавливается посреди поля, и народ тотчас же обступает его. Солнце освещает его непокрытую голову с огромным лбом, приветливо улыбающееся лицо и плотную фигуру. А он, зажав в левой руке кепку, а правую выбросив вперед, начинает что-то говорить народу. И нюгдинцы с затаённым дыханием, с горящими глазами и сияющими лицами жадно ловят каждое его слово. Сосуну кажется, что и полевые цветы, и деревья, сплошной зелёной стеной окружившие его, замерли в торжественном молчании, внемля голосу этого человека.

Сосун тоже слушает его и удивляется, как он простыми и ясными словами умеет выразить мысли, чувства, надежды и чаяния каждого человека. Вот почему, оказывается, сердца

всех людей тянутся к нему, как цветы к солнцу и свету.

А всё же, когда и где он его видел? Вдруг до Сосуна доносится чей-то радостно-возбуждённый голос: «Ленин! Да здравствует Ленин!!» Губы Сосуна расплываются в улыбке. Ведь это же Ленин, чей портрет он видел вчера вечером в своей комнате, над головой Шолума. Как же он сразу не узнал его? Губы юноши с любовью шепчут дорогое ему имя.

А Рахмон с отцовской нежностью и болью смотрит на закрытые глаза Сосуна, на его посиневшее лицо, на плотно сжатый, с застывшей улыбкой рот, откуда медленно, капля за каплей стекает кровь. И Рахмону чудится, что Сосун улыбается ему, слушая, о чём он рассказывает. Разве не радостно Сосуну услышать о том, что сельчане наголову разгромили бандитов – друзей Гомуила, что он, Рахмон, собственноручно убил негодяя Илогу, который хотел пронзить кинжалом сердце его дорогого друга, что такая же участь, такое же возмездие ждёт всех, кто поднимет свою преступную руку на их родную Советскую власть, попытается помешать им строить новую, светлую жизнь.

– Сосун, сын мой, ты меня слышишь?!
– сдерживая подступившее к горлу рыдание, прерывающимся голосом говорит Рахмон.

Но Сосун не отозвался

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия.....	5
-------------------------	---

Рассказы

Муж двух жен.....	9
Сосед мой – враг мой.....	19
Как я воскрес.....	28
Невеста с сюрпризом.....	34
Телефон.....	44
“Жених” бабушки Фатьмы.....	52

Повесть

Возмездие.....	61
----------------	----

Хизгил Авшалумов
Невеста с сюрпризом

рассказы и повесть

Художник - Качаев А.И.

Корректор – Магомедомарова Х.М.

Верстка – Мадиева Л.С.

ООО «Издательский дом “Эпоха»

367003 Республика Дагестан

г. Махачкала, ул. Ушакова 3”в”.

Тел./факс +7(8722) 67-55-56;

www.epokha.ru

E-mail: idepoha@mail.ru

Оптовая торговля книгами Издательского Дома «Эпоха»:
со склада в Махачкале: тел: (8722) 93-24-12,

E-mail: idepoha@mail.ru

Полный ассортимент продукции Издательского Дома
«Эпоха» оптом и в розницу:

книги, журналы «Бизнес-Успех», «Детский годекан–Малыш»,
«Научный мир», аудиокниги на языках народов Дагестана,
по адресу: г. Махачкала, ул. Ушакова, 3 «в».

Вся продукция доступна в Интернет-магазине Издательского
Дома «Эпоха» на сайте www.epokha.ru

По вопросам размещения рекламы в книгах и журналах
Издательского Дома «Эпоха» обращаться в отдел продаж
по тел: (8722) 93-24-12.

Подписано в печать 17.07.2007.

Гарнитура “Minion Pro”.

Формат 70х90 1/32. Тираж 2000 экз.

Заказ № 590.

Отпечатано в типографии ООО «Издательство «Лотос»
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Пушкина, 6



Хизгил Авшалумов (1913–2001)

Прозаик, поэт и драматург, писал на татском и русском языках, переводил на родной язык разных авторов.

В 1956 году в Дакнигоиздате вышла в свет его первая книга – сборник рассказов «Дружба». В последующие годы в дагестанских издательствах вышли книги на родном и русском языках: повесть «Судьба Сосуна», сборник рассказов «Как я воскрес», повести «Кушак бездетности» и «Дочь пастуха», сборник рассказов «Невеста с сюрпризом», «Жена брата», «Сын ряженого», «Жертва одного поцелуя», поэма «Гюлбоор», сборник новелл «Шими Дербенди», повести и рассказы «Толмач имама», «Сказание о любви», «Фамильная арка», сборник юмористических рассказов «Хитроумный Шими Дербенди».

В центральных издательствах в разные годы вышли книги Х. Авшалумова: сборник рассказов «Встречи у родника» и «Возмездие», повести и рассказы. В 1998 году в Москве вышла книга избранных произведений Х. Авшалумова на русском языке «Шими Дербенди».

В разные годы был награжден многими боевыми и правительственными наградами.

